

И (8АТ)
№ А.65

ТАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН

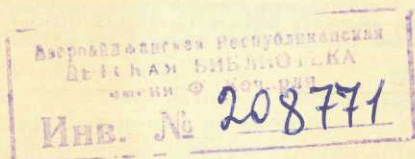
СКАЗКИ
И
ИСТОРИИ



Ганс Христиан Андерсен

2015 openg.

СКАЗКИ И ИСТОРИИ



БАКУ
ГЯНДЖЛИК · 1988

Перевод с датского А. ГАНЗЕН

Редактор Рена Пашабекова

А 63 Андерсен Г. Х.
Сказки и истории. Б.: Гянджлик, 1988. — 152 стр.

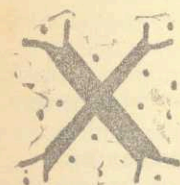
В сборник замечательного датского сказочника Г. Х. Андерсена вошли популярные сказки «Снежная королева», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Ру-салочка», «Дюймовочка», «Огниво» и многие другие.

А $\frac{4804010100}{M653(12)-88}$ 156-88

И (Дат.) 1

ISBN 5-8020-0155-0

© «Детская литература», М., 1982
© «Гянджлик», 1988



орошо было за городом! Стояло лето. На полях уже золотилась рожь, овес зеленел, сено было сметано в стога; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски — этому языку он выучился у своей матери. За полями и лугами темнел большой лес, а в лесу прятались глубокие синие озера. Да, хорошо было за городом! Солнце освещало старую усадьбу, окруженную глубокими канавами с водой. Вся земля — от стен дома до самой воды — заросла лопухом, да таким высоким, что маленькие дети могли стоять под самыми крупными его листьями во весь рост.

В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей это занятие порядком надоело. К тому же ее редко навещали, — другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать вместе с нею.

Наконец яичные скорлупки затрещали.

Утята зашевелились, застучали клювами и высунули головки.

— Пип, пип! — сказали они.

— Кряк, кряк! — ответила утка. — Поторапливайтесь!

Утята выкарабкались кое-как из скорлупы и стали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им — зеленый цвет полезен для глаз.

— Ах, как велик мир! — сказали утята.

Еще бы! Теперь им было куда просторнее, чем в скорлупе.

— Уж, не думаете ли вы, что тут и весь мир? — сказала мать. — Какое там! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, за поле... Но, по правде говоря, там я отроду не бывала!.. Ну что, все уже выбрались? — И она поднялась на ноги. — Ах нет, еще не все... Самое большое яйцо целехонько! Да когда же этому будет конец! Я скоро совсем потеряю терпение.

И она уселась опять.

— Ну, как дела? — спросила старая утка, просунув голову в чашу лопуха.

— Да вот, с одним яйцом никак не могу справиться, — сказала молодая утка. — Сижу, сижу, а оно все не лопаётся. Зато посмотри на тех малюток, что уже вылупились. Просто прелесть! Все, как один, — в отца! А он-то, негодный, даже не навестил меня ни разу!

— Постой, покажи-ка мне сперва то яйцо, которое не лопаётся, — сказала старая утка. — Уж не индюшечье ли оно, чего доброго? Ну да, конечно!.. Вот точно так же и меня однажды провели. А сколько хлопот было у меня потом с этими индюшатами! Ты не поверишь: они до того боятся воды, что их и не загонишь в канаву. Уж я и шипела, и крикала, и просто толкала их в воду, — не идут, да и только. Дай-ка я еще раз взгляну. Ну, так и есть! Индюшечье! Брось-ка его да ступай учи своих деток плавать!

— Нет, я, пожалуй, посижу, — сказала молодая утка. — Уж сколько терпела, что можно еще немного потерпеть.

— Ну и сиди! — сказала старая утка и ушла.

И вот наконец большое яйцо треснуло.

— Пип! Пип! — пропищал птенец и вывалился из скорлупы.

Но какой же он был большой и гадкий!

Утка оглядела его со всех сторон и всплеснула крыльями.

— Ужасный урод! — сказала она. — И совсем не похож на других! Уж не индюшонок ли это в самом деле? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой!

На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух был залит солнцем.

Утка со всей своей семьей отправилась к канаве. Бултых! — и она очутилась в воде.

— Кряк-кряк! За мной! Живо! — позвала она, и утята один за другим тоже бултыхнулись в воду.

Сначала вода покрыла их с головой, но они сейчас же вынырнули и отлично плыли вперед. Лапки у них так и заработали, так и заработали. Даже гадкий серый утенок не отставал от других.

— Какой же это индюшонок? — сказала утка. — Вон как славно гребет лапками! И как прямо держится! Нет, это мой собственный сын. Да он вовсе не так дурен, если хорошенько присмотреться к нему. Ну, живо, живо за мной! Я сейчас введу вас в общество — мы отправимся на птичий двор. Только дер-

житесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!

Скоро утка со всем своим выводком добралась до птичьего двора. Бог ты мой! Что тут был за шум! Два утиных семейства дрались из-за головки угря. И в конце концов эта головка досталась кошке.

— Вот так всегда и бывает в жизни! — сказала утка и облизнула язычком клюв — она и сама была не прочь отведать угриной головки. — Ну, ну, шевелите лапками! — скомандовала она, поворачиваясь к утятам. — Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех. Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток! До чего красиво! Это высшее отличие, какого только может удостоиться утка. Это значит, что ее не хотят потерять, — по этому лоскутку ее сразу узнают и люди и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен выворачивать лапки наружу. Вот так! Смотрите. Теперь наклоните головки и скажите: «Кряк!»

Утята так и сделали.

Но другие утки оглядели их и громко заговорили.

— Ну вот, еще целая орава! Точно без них нас мало было! А один-то какой гадкий! Этого уж мы никак не потерпим!

И сейчас же одна утка подлетела и клюнула его в шею.

— Оставьте его! — сказала утка-мать. — Ведь он вам ничего не сделал!

— Положим, что так. Но какой-то он большой и несуразный! — прошипела злая утка. — Не мешает его немного проучить.

А знатная утка с красным лоскутком на лапке сказала:

— Славные у тебя детки! Все очень, очень милы, кроме одного, пожалуй... Бедняга не удался! Хорошо бы его переделать.

— Это никак невозможно, ваша милость! — ответила утка-мать. — Он некрасив — это правда, но у него доброе сердце. А плавает он не хуже, смею даже сказать — лучше других. Я думаю, со временем он выровняется и станет поменьше. Он слишком долго пролежал в яйце и потому немного перерос. — И она разгладила клювом перышки на его спине. — Кроме того, он селезень, а селезню красота не так уж нужна. Я думаю, он вырастет сильным и пробьет себе дорогу в жизнь.

— Остальные утята очень, очень милы! — сказала знатная утка. — Ну, будьте как дома, а если найдете угриную головку, можете принести ее мне.

И вот утята стали вести себя как дома. Только бедному утенку, который вылупился позже других и был такой гадкий, никто не давал проходу. Его клевали, толкали и дразнили не только утки, но даже куры.

— Слишком велик! — говорили они.

А индийский пегух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя чуть не императором, надулся и, слов-

но корабль на всех парусах, подлетел прямо к утенку, поглядел на него и сердито залопотал; гребешок у него так и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, куда деваться. И надо же было ему уродиться таким гадким, что весь птичий двор смеется над ним!

Так прошел первый день, а потом стало еще хуже. Все гнали бедного утенка, даже братья и сестры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила тебя, несносный урод!» А мать прибавляла: «Глаза б мои на тебя не глядели!» Утки щипали его, куры клевали, а девушка, которая давала птицам корм, отталкивала его ногою.

Наконец утенок не выдержал. Он перебежал через двор и, распутив свои неуклюжие крылышки, кое-как перевалился через забор прямо в колючие кусты.

Маленькие птички, сидевшие на ветках, разом вспорхнули и разлетелись в разные стороны.

«Это оттого, что я такой гадкий», — подумал утенок и, зажмурив глаза бросился бежать, сам не зная куда. Он бежал до тех пор, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки.

Тут он провел всю ночь. Бедный утенок устал, и ему было очень грустно.

Утром дикие утки проснулись в своих гнездах и увидели нового товарища.

— Это что за птица? — спросили они.

Утенок вертелся и кланялся во все стороны, как умел.

— Ну, и гадкий же ты! — сказали дикие утки. — Впрочем, нам до этого нет никакого дела, только бы ты не лез к нам в родню.

Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом! Лишь бы ему позволили жить в камышах да пить болотную воду, — о большем он и не мечтал.

Так просидел он в болоте два дня. На третий день туда прилетели два диких гусака. Они совсем недавно научились летать и поэтому очень важничали.

— Слушай, дружище! — сказали они. — Ты такой чудной, что на тебя смотреть весело. Хочешь дружить с нами? Мы птицы вольные — куда хотим, туда и летим. Здесь поблизости есть еще болото, там живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить: «Рап! Рап!» Ты так забавен, что, чего доброго, будешь иметь у них большой успех.

Пиф! Паф! — раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми, а вода покраснела от крови.

Пиф! Паф! — раздалось опять, и целая стая диких гусей поднялась над болотом. Выстрел гремел за выстрелом. Охотники окружили болото со всех сторон; некоторые из них забрались на деревья и вели стрельбу сверху. Голубой дым облаками окутывал вершины деревьев и стлался над водой. По болоту рыскали охотничьи собаки. Только и слышно было: шлёп-шлёп! А камыш раскачивался из стороны в сторону. Бедный утенок от

страха был ни жив ни мертв. Он хотел было спрятать голову под крылышко, как вдруг прямо перед ним выросла охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она посмотрела на утенка, оскалила острые зубы и — шлеп-шлеп! — побежала дальше.

«Кажется, пронесло, — подумал утенок и перевел дух. — Видно, я такой гадкий, что даже собаке противно съесть меня!» И он притаился в камышах. А над головою его то и дело свистела дробь, раздавались выстрелы.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевеливаться.

Прошло несколько часов. Наконец он осмелился встать, осторожно огляделся вокруг и пустился бежать дальше по полям и лугам.

Дул такой сильный встречный ветер, что утенок еле-еле передвигал лапками.

К ночи он добрался до маленькой убогой избушки. Избушка до того обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, потому и держалась.

Ветер так и подхватывал утенка, — приходилось прижиматься к самой земле, чтобы не унесло.

К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и так перекосилась, что сквозь щель можно легко пробраться внутрь. И утенок пробрался.

В избушке жила старуха со своей курицей и котом. Кота она звала Сыночком; он умел выгибать спину, мурлыкать и даже сыпать искрами, но для этого надо было погладить его против шерсти. У курицы были маленькие коротенькие ножки, и потому ее так и прозвали Коротконожкой. Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.

Утром утенка заметили. Кот начал мурлыкать, а курица кулахать.

— Что там такое? — спросила старушка.

Она поглядела кругом и увидела в углу утенка, но сослепу приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому.

— Вот так находка! — сказала старушка. — Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень.

И она решила оставить бездомную птицу у себя.

Но прошло недели три, а яиц все не было.

Настоящим хозяином в доме был кот, а хозяйкой — курица. Оба они всегда говорили: «Мы и весь свет!» Они считали самих себя половиной всего света, и притом лучшей половиной. Утенку, правда, казалось, что на сей счет можно быть другого мнения. Но курица этого не допускала.

— Умеешь ты нести яйца? — спросила она утенка.

— Нет!

— Так и держи язык на привязи!

А кот спросил:

— Умеешь ты выгибать спину, сыпать искрами и мурлыкать?

— Нет!

— Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди!

И утенок сидел в углу, нахохлившись.

Как-то раз дверь широко отворилась, и в комнату ворвались струя свежего воздуха и яркий солнечный луч. Утенка так сильно потянуло на волю, так захотелось ему поплавать, что он не мог удержаться и сказал об этом курице.

— Ну, что еще выдумал? — напустилась на него курица. — Бездельничаешь, вот тебе в голову и лезет всякая чепуха! Неси яйца или мурлыч, дурь-то и пройдет!

— Ах, плавать так приятно! — сказал утенок. — Такое удовольствие нырнуть вниз головой в самую глубину!

— Вот так удовольствие! — сказала курица. — Ты совсем с ума сошел! Спроси у кота — он рассудительней всех, кого я знаю, — нравится ли ему плавать и нырять? О себе самой я уж не говорю. Спроси, наконец, у нашей госпожи старушки, умнее ее, уж наверное, никого нет на свете! Она тебе скажет, любит ли она нырять вниз головой в самую глубину!

— Вы меня не понимаете! — сказал утенок.

— Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет! Ты, видно, хочешь быть умнее кота и нашей госпожи, не говоря уже обо мне! Не дури и будь благодарен за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели, ты попал в такое общество, в котором можешь кое-чему научиться. Но ты пустая голова, и разговаривать с тобой не стоит. Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя. Так всегда поступают истинные друзья. Старайся же нести яйца или научись мурлыкать да сыпать искрами!

— Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! — сказал утенок.

— Ну и ступай себе! — ответила курица.

И утенок ушел. Он жил на озере, плавал и нырял вниз головой, но все вокруг по-прежнему смеялись над ним и называли его гадким и безобразным.

А между тем настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Они так и сыпались с ветвей, а ветер подхватывал их и кружил по воздуху. Стало очень холодно. Тяжелые тучи сеяли на землю то град, то снег. Даже ворон, сидя на изгороди, каркал от холода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о такой стуже!

Плохо приходилось бедному утенку.

Раз под вечер, когда солнышко еще сияло на небе, из-за леса поднялась целая стая чудесных, больших птиц. Таких красивых птиц утенок никогда еще не видел — все белые как снег, с длинными гибкими шеями...

Это были лебеди.

Их крик был похож на звуки трубы. Они распростерли свои широкие, могучие крылья и полетели с холодных лугов в теп-

лые края, за синие моря... Вот уж они поднялись высоко-высоко, а бедный утенок все смотрел им вслед, и какая-то непонятная тревога охватила его. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже закричал, да так громко и странно, что сам испугался. Он не мог оторвать глаза от этих прекрасных птиц, а когда они совсем скрылись из виду, он нырнул на самое дно, потом выплыл опять и все-таки долго еще не мог опомниться. Утенок не знал, как зовут этих птиц, не знал, куда они летят, но полюбил их, как не любил до сих пор никого на свете. Красоте их он не завидовал. Ему и в голову не приходило, что он может быть таким же красивым, как они.

Он был рад-радехонек, если бы хоть утки не отталкивали его от себя. Бедный гадкий утенок!

Зима настала холодная-прехолодная. Утенок должен был плавать по озеру без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем, но с каждой ночью полынья, в которой он плавал, становилась все меньше и меньше. Мороз был такой, что даже лед потрескивал. Утенок без устали работал лапками. Под конец он совсем выбился из сил, растянулся и примерз ко льду.

Рано утром мимо проходил крестьянин. Он увидел примерзшего ко льду утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и отнес полумертвую птицу домой к жене.

Утенка отогрели.

Дети задумали поиграть с ним, но утенку показалось, что они хотят обидеть его. Он шарахнулся от страха в угол и попал прямо в подойник с молоком. Молоко потекло по полу. Хозяйка вскрикнула и всплеснула руками, а утенок заметался по комнате, влетел в кадку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Легко представить, на что он стал похож!

Хозяйка бранила утенка и гонялась за ним с угольными шипцами, дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь была открыта, — утенок выбежал, растопырив крылья, кинулся в кусты, прямо на свежесвыпавший снег, и долго-долго лежал там почти без чувств.

Было бы слишком печально рассказывать про все беды и несчастья гадкого утенка в эту суровую зиму.

Наконец солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами. Зазвенели жаворонки в полях. Вернулась весна!

Утенок выбрался из камышей, где он прятался всю зиму, взмахнул крыльями и полетел. Крылья его теперь были куда крепче прежнего, они зашумели и подняли его над землей. Не успел он опомниться, как долетел уже до большого сада. Яблони стояли все в цвету, душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо, как пахло весной!

И вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал этих прекрасных птиц, и его охватила какая-то непонятная грусть.

«Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверно, заклюют меня насмерть за то, что я, такой гадкий, осмелился приблизиться к ним. Но все равно! Лучше погибнуть от их ударов, чем сносить щипки уток и кур, пинки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»

И он опустил на воду и поплыл навстречу прекрасным лебедям, а лебеди, завидев его, замахали крыльями и поплыли прямо к нему.

— Убейте меня! — сказал гадкий утенок и низко опустил голову.

И вдруг в чистой, как зеркало, воде он увидел свое собственное отражение. Он был уже не гадким темно-серым утенком, а красивым белым лебедем!

Теперь утенок был даже рад, что перенес столько горя и бед. Он много вытерпел и поэтому мог лучше оценить свое счастье. А большие лебеди плавали вокруг и гладили его своими клювами.

В это время в сад прибежали дети. Они стали бросать лебедям кусочки хлеба и зерно, а самый младший из них закричал: — Новый прилетел! Новый прилетел!

И все остальные подхватили:

— Да, новый, новый!

Дети хлопали в ладоши и плясали от радости. Потом они побежали за отцом с матерью и опять стали бросать в воду кусочки хлеба и пирожного.

И дети и взрослые говорили:

— Новый лебедь лучше всех! Он такой красивый и молодой!

И старые лебеди склоняли перед ним головы.

А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он вспоминал то время, когда все смеялись над ним и гнали его. Но все это было позади. Теперь люди говорят, что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей. Сирень склоняет к нему в воду душистые ветки, а солнышко ласкает своими теплыми лучами... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

— Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще гадким утенком!



ы, верно, знаешь, что в Китае все жители китайцы и сам император китаец.

Давным-давно это было, но потому-то и стоит рассказать эту историю, пока она еще не забылась совсем.

В целом мире не нашлось бы дворца лучше, чем дворец китайского императора. Он весь был из драгоценного фарфора, такого тонкого и хрупкого, что страш-но было до него и дотронуться.

Дворец стоял в прекрасном саду, в котором росли чудесные цветы. К самым красивым цветам были привязаны серебряные колокольчики. И когда дул ветерок, цветы покачивались и колокольчики звенели. Это было сделано для того, чтобы никто не прошел мимо цветов, не поглядев на них. Вот как умно было придумано!

Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что даже главный садовник и тот не знал, где он кончается. А сразу за садом начинался дремучий лес. Этот лес доходил до самого синего моря, и корабли проплывали под сенью могучих деревьев.

Тут в лесу, у самого берега моря, жил соловей. Он пел так чудесно, что даже бедный рыбак, слушая его песни, забывал о своем неводе.

— Ах, как хорошо, — говорил он, вздыхая, но потом снова принимался за свое дело и не думал о лесном певце до следующей ночи.

А когда наступала следующая ночь, он опять, как зачарованный, слушал соловья и снова повторял то же самое:

— Ах, как хорошо, как хорошо!

Со всех концов света приезжали в столицу императора путешественники. Все они любовались великолепным дворцом и прекрасным садом, но, услышав пение соловья, говорили: «Вот это лучше всего!»

Вернувшись домой, путешественники рассказывали обо всем, что видели. Ученые описывали столицу Китая, дворец и сад императора и никогда не забывали упомянуть о соловье. А поэты слагали в честь крылатого певца, живущего в китайском лесу, на берегу синего моря, чудеснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот одна толстая книга дошла до самого китайского императора. Он сидел на своем золотом троне, читал и кивал головой. Ему очень нравилось читать о том, как хороша его столица, как прекрасны его дворец и сад. Но вот на последней странице книги император прочитал: «В Китае много чудесного, но лучше всего маленькая птичка, по имени соловей, которая живет в лесу близ императорского сада. Ради того, чтобы послушать ее пение, советуем каждому съездить в Китай».

— Что такое? — сказал император. — Как?! В моем государстве и даже рядом с моим собственным дворцом живет такая удивительная птица, а я ни разу не слыхал, как она поет! И я узнаю о ней из иноземных книг!

Он захлопнул книгу и велел позвать своего первого министра. Этот министр напускал на себя такую важность, что, если кто-нибудь из людей пониже его чином осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, он отвечал только: «Пф», а это ведь ровно ничего не означает.

— Я прочел в одной ученой книге, что у нас есть замечательная птица, которую зовут соловей, — сказал император министру. — Ее считают первой достопримечательностью моего государства. Почему же мне ни разу не докладывали об этой птице?

— Ваше величество! — отвечал первый министр и поклонился императору. — Я даже не слыхал о ней. Она никогда не была представлена ко двору.

— Весь свет знает, что у меня есть такая редкостная птица, и только я один не знаю этого, — сказал император. — Я хочу, чтобы сегодня же вечером она была здесь и пела передо мной!

— Я разыщу ее, ваше величество, — сказал первый министр. Сказать-то было нетрудно. А где ее сыщешь?

И вот первый министр забегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из придворных не мог ему сказать, что за птица соловей и где этот самый соловей живет.

Первый министр вернулся к императору и доложил, что соловья в Китае нет и никогда не было.

— Ваше величество напрасно изволит верить всему, что пишут в книгах, — сказал он. — Все это одни пустые выдумки.

— Не говори глупостей! — сказал император. — Я хочу слышать соловья. Он должен быть во дворце сегодня же вечером! А если его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина отколотить тебя и всех министров палками по пяткам.

— Тзинг-пе! — сказал первый министр и опять принялся бегать вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам.

С ним бегали все сановники и придворные — никому не хотелось отвесть палок.

То и дело они сталкивались носами и спрашивали друг друга:

— Что такое со-ло-вей?

— Где найти со-ло-вья?

Но никто в императорском дворце даже не слышал о соловье, про которого знал уже весь свет.

Наконец придворные прибежали в кухню. Там сидела маленькая девочка и вытирала тарелки.

Первый министр спросил девочку, не знает ли она, где живет соловей.

— Соловей? — сказала девочка. — Да как же мне не знать! Он живет в нашем лесу. А уж как поет! Я каждый день ношу моей больной маме остатки обеда с императорской кухни. Живем мы у самого моря. Рядом в лесной чаще есть старое дерево с большим дуплом и густыми-густыми ветвями. И каждый раз, когда я сажусь отдохнуть под этим деревом, я слышу песню соловья. Он поет так нежно, что слезы сами собой текут у меня из глаз, а на душе становится так радостно, будто меня целует ма-тушка.

— Девочка, — сказал первый министр, — я назначу тебя шестой придворной судомойкой, и даже позволю посмотреть, как обедает сам император, если ты покажешь нам, где живет соловей. Он приглашен сегодня вечером ко двору.

И вот все отправились в лес.

Впереди шла девочка, а за ней министры и сановники.

Шли они, шли, и вдруг где-то неподалеку замычала корова.

— О! — сказали придворные. — Это, наверно, и есть соловей. Какой, однако, у него сильный голос!

— Это корова мычит, — сказала девочка. — Еще далеко до того дерева, на котором живет соловей.

И все пошли дальше.

Вдруг в болоте заквакали лягушки.

— Чудесно! — сказал придворный бонза. — Наконец-то я слышу соловья. Точь-в-точь серебряные колокольчики в нашей молельне!..

— Нет, это лягушки, — сказала девочка. — Но теперь, я думаю, мы скоро услышим и самого соловья.

И в самом деле, из чаши ветвей послышалось чудесное пение.

— Вот это и есть соловей! — сказала девочка. — Слушайте, слушайте! А вот и он сам! — И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, которая сидела на ветке.

— Пф! — сказал первый министр. — Никак не думал, что

этот знаменитый соловей так невзрачен с виду. Наверно, он посерел от страха, увидев так много знатных особ.

— Соловушка! — громко закричала девочка. — Наш милостивый император хочет послушать тебя.

— Очень рад! — ответил соловей и запел еще звонче.

— Пф, пф! — сказал первый министр. — Его голос звенит так же звонко, как стеклянные колокольчики на парадном балдахине императора. Взгляните только, как работает это маленькое горлышко! Странно, что мы до сих пор никогда не слышали такого замечательного певца. Он несомненно будет иметь огромный успех при дворе.

— Не желает ли император, чтобы я спел еще? — спросил соловей. Он думал, что с ним говорит сам император.

— Несравненный господин соловей! — сказал первый министр. — Его величества императора здесь нет, но он возложил на меня приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением.

— Песни мои гораздо лучше слушать в зеленом лесу, — сказал соловей. — Но я охотно полечу с вами, если это будет приятно императору.

А во дворце между тем готовились к празднику. Все бегали, хлопотали и суетились. В фарфоровых стенах и в стеклянном полу отражались сотни тысяч золотых фонариков; в коридорах рядами были расставлены прекрасные цветы, а привязанные к цветам колокольчики от всей этой беготни, суматохи и сквозного ветра звенели так громко, что никто не слышал своего собственного голоса.

И вот наступил вечер. Посреди огромной залы восседал император. Напротив императорского трона поставили золотой шест, а на самой верхушке его сидел соловей. Все придворные были в полном сборе. Даже бедной девочке из кухни позволили стоять в дверях, — ведь она была теперь не простая девочка, а придворная судомойка. Все были разодеты в пух и прах и не сводили глаз с маленькой серенькой птички.

Но вот император милостиво кивнул головой. И соловей запел. Он пел так нежно, так чудесно, что даже у самого императора выступили на глазах слезы и покатались по щекам.

Тогда соловей залился еще громче, еще нежнее. Пение его так и хватало за сердце.

Когда он кончил, император сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался.

— Я уже и так вознагражден, — сказал соловей. — Я видел слезы на глазах императора. Какой же еще желать мне награды?

И опять зазвучал его чудесный голос.

— Ах, это очаровательно! — восклицали наперебой придворные дамы.

И с тех пор, когда им нужно было разговаривать с кем-нибудь, кому они хотели понравиться, они набирали в рот воды,

чтобы она булькала у них в горле. Придворные дамы, видите ли, вообразили, что это бульканье похоже на соловьиные трели.

Соловья оставили при дворе и отвели ему особую комнату. Два раза в день и один раз ночью ему разрешали гулять на свободе.

Но к нему приставили двенадцать слуг, и каждый из них держал привязанную к ножке соловья шелковую ленточку.

Нечего сказать, большое удовольствие могла доставить такая прогулка!

Весь город заговорил об удивительной птице, и если на улице встречались трое знакомых, один из них говорил: «Со», другой подхватывал: «ло», а третий заканчивал: «вей», после чего все трое вздыхали и поднимали к небу глаза.

Одиннадцать лавочников дали своим сыновьям новое имя: «Соловей» — в честь императорского соловья, — хотя голоса у этих младенцев были похожи на скрип несмазанных колес.

Словом, маленькая лесная птичка прославилась на весь Китай.

Но вот однажды императору прислали из Японии ящичек, завернутый в шелковую материю. На ящичке было написано: «Соловей».

— Это, наверно, новая книга о нашей знаменитой птице, — сказал император.

Ящик открыли, но в нем была не книга, а разукрашенная коробочка. А в коробочке лежал искусственный соловей. Он был очень похож на живого, но весь осыпан бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести игрушечную птицу — и она начинала петь одну из тех песен, которые пел настоящий соловей, и вертеть позолоченным хвостиком. На шейке у птицы была ленточка с надписью: «Соловей императора японского ничто в сравнении с соловьем императора китайского».

— Какая прелесть! — сказали все.

А того, кто привез драгоценную птицу, сейчас же возвели в чин придворного поставщика соловьев.

— Теперь пускай этот новый соловей и наш старый певец споют вместе, — решил император.

Но дело не пошло на лад: настоящий соловей каждый раз пел свою песню по-новому, а искусственный повторял одну и ту же песенку, как заведенная шарманка.

Тогда искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как и настоящий соловей, но при этом был куда красивее — весь так и блестел, так и сверкал драгоценными камнями. Тридцать три раза пропел он одно и то же и несколько не устал.

Придворные охотно послушали бы его песенку еще тридцать три раза, но император сказал, что теперь надо послушать для сравнения и настоящего соловья. Тут все обернулись и посмотрели на золотой шест. Но соловья там не было. Куда же он делся?

Никто и не заметил, как соловей выпорхнул в открытое окно и улетел домой, в свой зеленый лес.

— Что же это, однако, такое? — сказал император.

И все придворные стали бранить соловья и называть его неблагодарной тварью.

— Лучшая-то птица все-таки осталась у нас! — говорили все, и заводному соловью пришлось спеть свою единственную песню в тридцать четвертый раз.

Придворный капельмейстер всячески расхваливал искусственную птицу и уверял, что она гораздо лучше настоящей и наружностью и голосом.

— Я возьму на себя смелость утверждать, высокий повелитель мой, и вы, достопочтенные господа, — говорил он, — что преимущества искусственного соловья перед живым соловьем неоспоримы. Извольте ли видеть, имея дело с живым, вы никогда не знаете заранее, что ему заблагорассудится спеть, в то время как вам всегда известно наперед, что именно будет петь искусственный. Если вам угодно, вы даже можете разобрать его и посмотреть, как он устроен, как расположены и действуют все его валики, винтики и пружинки — плод человеческого ума и учености.

— О да, мы тоже так думаем, — сказали придворные.

А император велел показать птицу всему городу в следующее же воскресенье.

— Пусть и народ послушает ее, — сказал он.

Горожане послушали с удовольствием и выразили свое полное одобрение, словно их угостили отличным чаем, а ведь китайцы, как известно, ничто так не любят, как чай.

Все в один голос восклицали «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами.

Только бедные рыбаки, которым доводилось слышать настоящего соловья, говорили:

— Недурно поет! Даже похоже на живого соловья. Но все-таки не то! Чего-то недостает, а чего — мы и сами не знаем!

А тем временем император издал указ, скрепленный самой большой императорской печатью. В этом указе настоящего соловья объявили навсегда изгнанным из китайского государства. А искусственный занял место на шелковой подушке, возле самой императорской постели. Вокруг него были разложены все пожалованные ему драгоценности, в том числе золотая императорская туфля.

Заводной птице дали особое звание: «Первый певец императорского ночного столика с левой стороны», потому что император считал более важной ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится слева даже у императора!

Ученые написали об искусственном соловье двадцать пять толстенных книг, полных самых мудреных и непонятных китайских слов. Однако все придворные уверяли, что прочли эти книги и поняли от слова до слова, — иначе ведь их прозвали бы невеждами и отколотили бы палками по пяткам.

Так прошел год. Император, весь двор и даже весь город знали наизусть каждую нотку в песне искусственного соловья. Поэтому-то пение его так нравилось. Все теперь сами могли подпевать птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Ключ-ключ-ключ!» И даже сам император напевал иногда: «Ци-ци-ци! Ключ-ключ-ключ!» Ну что за прелесть!

И вот однажды вечером искусственная птица распевала перед императором, а он лежал в постели и слушал ее. Вдруг внутри птицы что-то зашипело, зажужжало, колесики быстро завертелись и остановились. Музыка смолкла.

Император вскочил с постели и послал за своим личным лекарем. Но что тот мог поделать? Ведь он никогда не лечил соловьев — ни живых, ни искусственных.

Тогда призвали часовщика. Часовщик разобрал птицу на части и долго рассматривал какие-то колесики и подвинчивал какие-то винтики. Потом он сказал, что птица хоть и будет петь, но обращаться с ней надо очень осторожно: маленькие зубчики истерлись, а поставить новые нельзя. Вот какое горе!

Все были очень опечалены. Император издал новый указ, в котором говорилось, что «Первого певца императорского ночного столика с левой стороны» разрешается заводить только раз в год, да и то ненадолго.

Для успокоения горожан придворный капельмейстер произнес речь, в которой он с большим искусством доказал, что заводной соловей несколько не стал хуже. Ну, а если это сказал придворный капельмейстер, значит, так оно и было.

Прошло еще пять лет.

Однажды император простудился и заболел. Доктора уже не надеялись на его выздоровление. Министры и придворные собирались провозгласить нового императора, а народ толпился на улице и спрашивал первого министра о здоровье старого императора.

— Пф! — отвечал первый министр и покачивал головой.

Бледный и похолодевший, лежал император на своем великолепном ложе. Все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Слуги бегали взад и вперед по дворцу и узнавали последние новости, а служанки проводили время в болтовне за чашкой чая. Во всех залах и коридорах были разостланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина.

Но старый император еще не умер, хотя и лежал совсем неподвижно на своем великолепном ложе, под бархатным балдахинном с золотыми кистями. Окно было раскрыто, и месяц глядел на императора и заводного соловья, который лежал так же неподвижно, как и сам император, на шелковой подушке возле постели больного.

Бедный император едва дышал, ему казалось, что кто-то сжимает его горло. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидит Смерть. Она надела себе на голову корону импера-

тора, в одной руке у нее была его золотая сабля, а в другой — императорское знамя. А кругом из всех складок бархатного балахина выглядывали какие-то страшные рожи: одни безобразные и злые, другие — красивые и добрые. Но злых было гораздо больше. Это были злые и добрые дела императора. Они смотрели на него и наперебой шептались.

— Помнишь ли ты это? — слышалось с одной стороны.

— А это помнишь? — доносилось с другой.

И они рассказывали ему такое, что холодный пот выступал у императора на лбу.

— Я забыл об этом, — бормотал он. — А этого никогда и не знал...

Ему стало так тяжело, так страшно, что он закричал:

— Музыку сюда, музыку! Бейте в большой китайский барабан! Я не хочу видеть и слышать их!

Но страшные голоса не умолкали, а Смерть, словно старый китаец, кивала при каждом их слове.

— Музыку сюда, музыку! — еще громче вскричал император. — Пой хоть ты, моя славная золотая птичка! Я одарил тебя драгоценностями, я повесил тебе на шею золотую туфлю!.. Пой же, пой!

Но птица молчала: некому было завести ее, а без этого она петь не умела.

Смерть, усмехаясь, глядела на императора своими пустыми глазами впадинами. Мертвая тишина стояла в покоях императора.

И вдруг за окном раздалось чудное пение. То был маленький живой соловей. Он узнал, что император болен, и прилетел, чтобы утешить и ободрить его. Он сидел на ветке и пел, и страшные призраки, обступившие императора, все бледнели и бледнели, а кровь все быстрее, все жарче приливалась к сердцу императора.

Сама Смерть заслушалась соловья и лишь тихо повторяла:

— Пой, соловушка! Пой еще!

— А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? И знамя? И корону? — спрашивал соловей.

Смерть кивала головой и отдавала одно сокровище за другим, а соловей все пел и пел. Вот он запел песню о тихом кладбище, где цветет бузина, благоухают белые розы, и в свежей траве на могилах блестят слезы живых, оплакивающих своих близких. Тут Смерти так захотелось вернуться к себе домой, на тихое кладбище, что она закуталась в белый холодный туман и вылетела в окно.

— Спасибо тебе, милая птичка! — сказал император. — Я узнаю тебя. Когда-то я прогнал тебя из моего государства, а теперь ты своей песней отогнала от моей постели Смерть! Чем мне вознаградить тебя?

— Ты уже наградил меня, — сказал соловей. — Я видел слезы на твоих глазах, когда первый раз пел перед тобой, — этого

я не забуду никогда. Искренние слезы восторга, — самая драгоценная награда певцу!

И он запел опять, а император заснул здоровым, крепким сном.

А когда он проснулся, в окно уже ярко светило солнце. Никто из придворных и слуг даже не заглядывал к императору. Все думали, что он умер. Один соловей не покидал больного. Он сидел за окном и пел еще лучше, чем всегда.

— Останься у меня! — просил император. — Ты будешь петь только тогда, когда сам захочешь. А искусственную птицу я разобью.

— Не надо! — сказал соловей. — Она служила тебе, как могла. Оставь ее у себя. Я не могу жить во дворце. Я буду прилетать к тебе, когда сам захочу, и буду петь о счастливых и несчастных, о добре и зле, обо всем, что делается вокруг тебя и чего ты не знаешь. Маленькая певчая птичка летает повсюду — залетает и под крышу бедной крестьянской хижинки, и в рыбацкий домик, которые стоят так далеко от твоего дворца. Я буду прилетать и петь тебе! Но обещай мне...

— Все, что хочешь! — воскликнул император и встал с постели.

Он успел уже надеть свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.

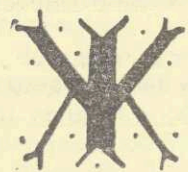
— Обещай мне не говорить никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем большом мире. Так дело пойдет лучше.

И соловей улетел.

Тут вошли придворные, они собрались поглядеть на умершего императора, да так и застыли на пороге.

А император сказал им:

— Здравствуйте! С добрым утром!



ила на свете одна женщина. У нее не было детей, а ей очень хотелось ребеночка. Вот пошла она к старой колдунье и говорит:

— Мне так хочется, чтобы у меня была дочка, хоть самая маленькая!..

— Чего же проси! — ответила колдунья. — Вот тебе ячменное зерно. Это зерно не простое,

не из тех, что зреют у вас на полях и годятся птице на корм. Возьми-ка его да посади в цветочный горшок. Увидишь, что будет.

— Спасибо тебе! — сказала женщина, и дала колдунье двенадцать медяков.

Потом она пошла домой и посадила ячменное зернышко в цветочный горшок.

Только она его полила, зернышко сразу же проросло. Из земли показались два листочка и нежный стебель. А на стебле появился большой чудесный цветок, вроде тюльпана. Но лепестки цветка были плотно сжаты: он еще не распустился.

— Какой прелестный цветок! — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки.

В ту же минуту в сердцевине цветка что-то щелкнуло, и он раскрылся. Это был в самом деле большой тюльпан, но в чашечке его сидела живая девочка. Она была маленькая-маленькая,

всего в дюйм¹ ростом. Поэтому ее так и прозвали — Дюймовочка.

Колыбельку для Дюймовочки сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха. Вместо перинки туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца — лепесток розы. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днем она играла на столе.

Посередине стола женщина поставила глубокую тарелку с водой, а по краю тарелки разложила цветы. Длинные стебельки их купались в воде, и цветы долго оставались свежими и душистыми.

Для маленькой Дюймовочки тарелка с водой была целым озером, и она плавала по этому озеру на лепестке тюльпана, как на лодочке. Вместо весел у нее были два белых конских волоса. Дюймовочка целые дни каталась на своей чудесной лодочке, переплывала с одной стороны тарелки на другую, и распевала песни. Такого нежного голоса, как у нее, никто никогда не слышал.

Однажды ночью, когда Дюймовочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату пробралась большущая старая жаба, мокрая и безобразная. С подоконника она прыгнула на стол и заглянула в скорлупку, где спала под лепестком розы Дюймовочка.

— Как хороша! — сказала старая жаба. — Славная невеста будет моему сыну!

Она схватила ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

Возле сада протекала речка, а под самым ее берегом было топкое болотце. Здесь-то, в болотной тине, и жила старая жаба со своим сыном. Сын был тоже мокрый и безобразный — точь-в-точь мамаша!

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в ореховой скорлупке.

— Тише ты! — Еще разбудишь, чего доброго, и она убежит от нас, — сказала старая жаба. — Ведь она легче перышка. Давай-ка отнесем ее на середину реки и посадим там на лист кувшинки — для такой крошки это целый остров. Оттуда уж ей ни за что не убежать. А я тем временем устрою для вас в тине уютное гнездышко.

В реке росло много кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега! Жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку, в которой спала девочка.

Ах, как испугалась бедная Дюймовочка, проснувшись поутру! Да и как было не испугаться! Со всех сторон ее окружала вода, а берег чуть виделся вдаль. Дюймовочка закрыла глаза руками и горько заплакала.

¹ В одном дюйме 2,5 см.

А старая жаба сидела в тине и украшала свой дом камышом и желтыми кувшинками, — она хотела угодить молодой невестке. Когда все было готово, она подплыла со своим гадким сыном к листу, на котором сидела Дюймовочка, чтобы взять ее кроватку и перенести к себе в дом.

Сладко улыбувшись, старая жаба низко присела в воде перед девочкой и сказала:

— Вот мой сынок! Он будет твоим мужем! Вы славно заживете с ним у нас в тине.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог сказать сынок.

Жабы взяли скорлупу и уплыли с ней. А Дюймовочка все стояла одна посреди реки на большом зеленом листе кувшинки и горько-горько плакала — ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына.

Маленькие рыбки, которые плавали под водой, услышали, что сказала старуха жаба. Жениха с матушкой они видели и раньше. Теперь они высунули из воды головы, чтобы поглядеть на невесту.

Взглянув на Дюймовочку своими круглыми глазами, они ушли на самое дно, и стали думать, что же теперь делать. Им было ужасно жалко, что такой миленькой маленькой девочке придется жить вместе с этими отвратительными жабами где-нибудь под корягой в густой жирной тине. Не бывать же этому! Рыбки со всей речки собрались у листа кувшинки, на котором сидела Дюймовочка, и перегрызли стебелек листа.

И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильное, и лист плыл очень быстро. Теперь-то уж старая жаба никак не могла бы догнать Дюймовочку.

Дюймовочка плыла все дальше и дальше, а маленькие птички, которые сидели в кустах, смотрели на нее и пели:

— Какая миленькая маленькая девочка!

Легкий белый мотылек все кружился над Дюймовочкой, и наконец опустился на лист — уж очень ему понравилась эта крошечная путешественница.

А Дюймовочка сняла свой шелковый пояс, один конец набросила на мотылька, другой привязала к листу, и листок поплыл еще быстрее. В это время мимо пролетал майский жук. Он увидел Дюймовочку, схватил ее и унес на дерево. Зеленый лист кувшинки поплыл без нее дальше и скоро скрылся из виду, а с ним вместе и мотылек: ведь он был крепко привязан к листу шелковым поясом.

Как испугалась бедная Дюймовочка, когда рогатый жук обхватил ее лапками и взвился с ней высоко в воздух! Да и белого мотылька ей было очень жалко. Что-то с ним теперь будет? Ведь он умрет с голоду, если ему не удастся освободиться.

А майскому жуку и горя мало. Он уселся на ветке большого дерева, усадил рядом Дюймовочку и сказал ей, что она ему очень нравится, хоть и совсем не похожа на майских жуков.

Потом к ним пришли в гости другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они с любопытством разглядывали Дюймовочку, а их дочки в недоумении разводили крылышками.

— У нее только две ножки! — говорили они.

— У нее даже нет щупалец! — говорили другие.

— Какая она слабенькая, тоненькая! Того и гляди, переломится пополам, — говорили третьи.

— Очень на человека похожа, и к тому же некрасивая, — решили наконец все жуки.

Даже майскому жуку, который принес Дюймовочку, показалось теперь, что она совсем нехороша, и он решил с ней распрощаться — пусть идет куда знает. Он слетел с Дюймовочкой вниз и посадил ее на ромашку.

Дюймовочка сидела на цветке и плакала: ей было грустно, что она такая некрасивая. Даже майские жуки прогнали ее!

А на самом деле она была премиленькая. Пожалуй, лучше ее и на свете-то никого не было.

Все лето прожила Дюймовочка одна-одинешенька в большом лесу. Она сплела себе из травы колыбельку и подвесила ее под большим листом лопуха, чтобы укрываться от дождя и от солнышка. Она ела сладкий цветочный мед и пила росу, которую каждое утро находила на листьях.

Так прошло лето, прошла и осень. Близилась долгая холодная зима. Птицы улетели, цветы завяли, а большой лист лопуха, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, засох и свернулся в трубку.

Холод пробирал Дюймовочку насквозь. Платице ее все изорвалось, а она была такая маленькая, нежная — как тут не мерзнуть! Пошел снег, и каждая снежинка была для Дюймовочки то же, что для нас целая лопата снега. Мы-то ведь большие, а она была ростом всего-навсего с дюйм. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала, как осенний листок на ветру.

Тогда Дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе приют на зиму.

За лесом, в котором она жила, было большое поле. Хлеб о поля уже давно убрали, и только короткие сухие стебельки торчали из мерзлой земли.

В поле было еще холоднее, чем в лесу, и Дюймовочка совсем замерзла, пока пробиралась между высохшими жесткими стеблями.

Наконец она добрела до норки полевой мыши. Вход в норку был заботливо прикрыт травинками и былинками.

Полевая мышь жила в тепле и довольстве: кухня и кладовая у нее были битком набиты хлебными зернами. Дюймовочка, как нищенка, остановилась у порога и попросила подать ей хоть кусочек ячменного зерна — вот уже два дня во рту у нее не было ни крошки.

— Ах ты бедняжка! — сказала полевая мышь (она была, в

сущности, добрая старуха). — Ну иди сюда, погрейся да поешь со мною!

И Дюймовочка спустилась в норку, обогрелась и поела.

— Ты мне нравишься, — сказала ей мышь, поглядев на нее блестящими, как бисер, черными глазками. — Оставайся-ка у меня на зиму. Я буду кормить тебя, а ты прибирай хорошенько мой дом да рассказывай мне сказки — я до них большая охотница.

И Дюймовочка осталась.

Она делала все, что приказывала ей старая мышь, и жилось ей совсем неплохо в теплой укромной норке.

— Скоро у нас будут гости, — сказала ей однажды полевая мышь. — Раз в неделю меня приходит навестить мой сосед. Он очень богат и живет куда лучше меня. У него большой дом под землей, а шубу он носит такую, какой ты, верно, и не видывала, — великолепную черную шубу! Выходи, девочка, за него замуж! С ним не пропадешь! Одна беда: он слеп и не разглядит, какая ты хорошенькая. Ну, уж ты зато расскажешь ему самую лучшую сказку, какую только знаешь.

Но Дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за богатого соседа: ведь это был крот — угрюмый подземный житель.

Вскоре сосед и в самом деле пришел к ним в гости.

Правда, шубу он носил очень нарядную — из темного бархата. К тому же, по словам полевой мыши, он был ученый и очень богатый, а дом его был чуть ли не в двадцать раз больше, чем у мыши. Но он терпеть не мог солнца и ругал все цветы. Да и не мудрено! Ведь он никогда в жизни не видел ни одного цветка.

Хозяйка-мышь заставила Дюймовочку спеть для дорогого гостя, и девочка волей-неволей спела две песенки, да так хорошо, что крот пришел в восхищение. Но он не сказал ни слова — он был такой важный, степенный, неразговорчивый...

Побывав в гостях у соседки, крот прорыл под землей длинный коридор от своего дома до самой норки полевой мыши и пригласил старушку вместе с приемной дочкой прогуляться по этой подземной галерее.

Он взял в рот гнилушку — в темноте гнилушка светит не хуже свечки — и пошел вперед, освещая дорогу.

На полпути крот остановился и сказал:

— Здесь лежит какая-то птица. Но нам ее нечего бояться — она мертвая. Да вот можете сами поглядеть.

И крот стал тыкаться своим широким носом в потолок, пока не прорыл в нем дыру. Дневной свет проник в подземный ход, и Дюймовочка увидела мертвую ласточку.

Должно быть, бедная птичка погибла от холода. Ее крылья были крепко прижаты к телу, ножки и голова спрятаны в перышки.

Дюймовочке стало очень жалко ее. Она так любила этих веселых легкокрылых птичек — ведь они целое лето пели ей чу-

десные песни и учили ее петь. Но крот толкнул ласточку своими короткими лапами и проворчал:

— Что, небось притихла? Не свистишь больше? Вот то-то и есть!. Да, не хотел бы я быть такой пичужкой. Только и умеют носиться в воздухе да щебетать. А придет зима — что им делать? Помирай, и все тут. Нет уж, моим детям не придется пропадать зимой от голода и холода.

— Да, да, — сказала полевая мышь. — Какой прок от этого чириканья и щебета? Песнями сыт не будешь, чириканьем зимой не согреешься!

Дюймовочка молчала. Но когда крот и мышь повернулись к птице спиной, она нагнулась к ласточке, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глаза.

«Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно пела летом, — подумала девочка. — Сколько радости принесла ты мне, милая ласточка!»

А крот тем временем снова заделал дыру в потолке. Потом, подобрав гнилушку, он проводил домой старуху мышь и Дюймовочку.

Ночью Дюймовочке не спалось. Она встала с постели, сплела из сухих былинки большой ковер и, пробравшись в подземную галерею, прикрыла им мертвую птичку. Потом она отыскала в кладовой у полевой мыши теплого пуху, сухого мха и устроила для ласточки что-то вроде гнездышка, чтобы ей не так жестко и холодно было лежать на мерзлой земле.

— Прощай, милая ласточка, — сказала Дюймовочка. — Прощай! Спасибо тебе за то, что ты пела мне свои чудесные песни летом, когда деревья были еще зеленые, а солнышко так славно грело.

И она прижалась головой к шелковистым перышкам на груди у птички.

И вдруг она услышала, что в груди у ласточки что-то мерно застучало: «Стук! Стук!» — сначала тихо, а потом громче и громче. Это забилося сердце ласточки. Ласточка была не мертвая — она только окоченела от холода, а теперь согрелась и ожила.

На зиму стаи ласточек всегда улетают в теплые края. Осень еще не успела сорвать с деревьев зеленый наряд, а крылатые путешницы уже собираются в дальнюю дорогу. Если же какая-нибудь из них отстанет или запоздает, колючий ветер миглом оледенит ее легкое тело. Она окоченеет, упадет на землю замертво, и ее занесет холодным снегом.

Так случилось и с этой ласточкой, которую отогрела Дюймовочка.

Когда девочка поняла, что птица жива, она и обрадовалась и испугалась. Еще бы не испугаться! Ведь рядом с ней ласточка казалась такой огромной птицей.

Но все-таки Дюймовочка собралась с духом, потеплее укрыла ласточку своим плетеным ковром, а потом сбегала домой, при-

несла листочек мяты, которым сама укрывалась вместо одеяла, и укутала им голову птицы.

На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птица уже совсем ожила, но была еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку.

Дюймовочка стояла перед нею с куском гнилушки в руках — другого фонаря у нее не было.

— Спасибо тебе, милая крошка! — сказала больная ласточка. — Я так хорошо согрелась! Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко.

— Ах, — сказала Дюймовочка, — теперь так холодно, идет снег! Останься лучше в своей теплой постельке, а я буду ухаживать за тобой.

И она принесла ласточке ячменных зернышек и воды в цветочном лепестке. Ласточка попила, поела, а потом рассказала девочке, как она поранила себе крыло о терновый куст и не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края. Пришла зима, стало очень холодно, и она упала на землю... Больше уже ласточка ничего не помнила. Она даже не знала, как попала сюда, в это подземелье.

Всю зиму прожила ласточка в подземной галерее, а Дюймовочка ухаживала за ней, кормила и поила ее. Ни кроту, ни полевой мыши она не сказала об этом ни слова — ведь оба они совсем не любили птиц.

Когда настала весна и пригрело солнышко, Дюймовочка открыла то окошко, которое проделал в потолке крот, и теплый солнечный луч проскользнул под землю.

Ласточка простилась с девочкой, расправила крылышки, но прежде, чем вылететь, спросила не хочет ли Дюймовочка выбраться вместе с ней на волю. Пусть сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес.

Но Дюймовочке было жалко бросить старую полевою мышью — она знала, что старушке будет очень скучно без нее.

— Нет, мне нельзя! — сказала она, вздыхая.

— Ну что ж, прощай! Прощай, милая девочка! — прошептала ласточка.

Дюймовочка долго глядела ей вслед, и слезы капали у нее из глаз — ей тоже хотелось на простор да и грустно было расставаться с ласточкой.

— Тви-вить, тви-вить! — крикнула в последний раз ласточка и скрылась в зеленом лесу.

А Дюймовочка осталась в мышиной норе.

С каждым днем ей жилось все хуже, все скучнее. Старая мышья не позволяла ей уходить далеко от дома, а поле вокруг норки заросло высокими толстыми колосьями и казалось Дюймовочке дремучим лесом.

И вот однажды старуха мышья сказала Дюймовочке:

— Наш сосед, старый крот, приходил свататься к тебе. Теперь

тебе нужно готовить приданое. Ты выходишь замуж за важную особу, и надо, чтоб у тебя всего было вдоволь.

И Дюймовочке пришлось по целым дням прясть пряжу.

Старуха мышья наняла четырех пауков. Они днем и ночью сидели по углам мышиной норки и втихомолку делали свое дело — ткали разные ткани и плели кружева из самой тонкой паутины.

А слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю и она снова сделается мягкой и рыхлой. Вот тогда-то они и сыграют свадьбу. Но Дюймовочка все грустила и плакала: она совсем не хотела выходить замуж, да еще за толстого слепого крота.

Каждое утро, на восходе солнца, и каждый вечер, на закате, Дюймовочка выходила за порог мышиной норки. Иногда веселый ветерок раздвигал верхушки колосьев, и девочке удавалось увидеть кусочек голубого неба.

«Как светло, как хорошо тут на воле!» — думала Дюймовочка и все вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточка не показывалась над полем. Должно быть, она вилась и носилась далеко-далеко там, в зеленом лесу над голубой рекой...

И вот наступила осень. Приданое для Дюймовочки было готово.

— Через четыре недели твоя свадьба! — сказала Дюймовочке полевая мышья.

Но Дюймовочка заплакала и ответила, что не хочет выходить замуж за скучного крота.

Старуха мышья рассердилась.

— Пустяки! — сказала она. — Не упрямясь, а не то попробуешь моих зубов. Чем тебе крот не муж? Одна шуба, чего стоит! У самого короля нет такой шубы! Да и в погребках у него не пусто. Благодарю судьбу за такого мужа!

Наконец настал день свадьбы, и крот пришел за своей невестой. Значит, ей все-таки придется идти с ним в его темную нору, жить там, глубоко-глубоко под землей, и никогда не видеть ни белого света, ни ясного солнышка — ведь крот их терпеть не может?! А бедной Дюймовочке было так тяжело распрощаться навсегда с высоким небом и красным солнышком! У полевой мышья она могла хоть издали, с порога норки, любоваться ими.

И вот она вышла взглянуть на белый свет в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и опять из земли торчали одни голые, засохшие стебли. Девочка отошла подальше от мышиной норки и протянула к солнцу руки:

— Прощай, солнышко, прощай!

Потом она увидела маленький красный цветочек, обняла его и сказала:

— Милый цветочек, если увидишь ласточку, передай ей поклон от Дюймовочки.

— Тви-вить, тви-вить! — вдруг раздалось у нее над головой.

Дюймовочка подняла голову и увидела ласточку, которая пролетала над полем. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась. Она опустилась на землю, и Дюймовочка, плача, рассказала своей подруге, как ей не хочется выходить замуж за старого угрюмого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглядывает солнце.

— Уже наступает холодная зима, — сказала ласточка, — и я улетаю далеко-далеко, в дальние страны. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота, улетим далеко, за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, где стоит вечное лето и всегда цветут цветы. Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной, холодной яме.

— Да, да, я полечу с тобой! — сказала Дюймовочка.

Она села ласточке на спину и крепко привязала себя поясом к самому большому и крепкому перу.

Ласточка стрелой взвилась к небу и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было очень холодно, и Дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки и высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали.

Вот наконец и теплые края! Солнце сияло тут гораздо ярче, чем у нас, небо было выше, а вдоль изгородей вился кудрявый зеленый виноград. В рощах попевали апельсины и лимоны, а по дорожкам бегали веселые дети и ловили больших пестрых бабочек.

Но ласточка летела дальше и дальше.

На берегу прозрачного голубого озера посреди раскидистых деревьев стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились птичьи гнезда. В одном из них и жила ласточка.

— Вот мой дом! — сказала она. — А ты выбери себе самый красивый цветок. Я посажу тебя в его чашечку, и ты отлично заживешь.

Дюймовочка обрадовалась и от радости захлопала в ладоши.

Внизу, в траве, лежали куски белого мрамора — это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три части. Между мраморными обломками росли крупные белые как снег цветы.

Ласточка спустилась и посадила девочку на широкий лепесток. Но что за чудо? В чашечке цветка оказался маленький человечек, такой светлый и прозрачный, словно он был из хрустала или утренней росы. За плечами у него дрожали легкие крылышки, на голове блистала маленькая золотая корона, а ростом он был не больше нашей Дюймовочки. Это был король эльфов.

Когда ласточка подлетела к цветку, эльф не на шутку перепугался. Ведь он был такой маленький, а ласточка такая большая!

Зато как же он обрадовался, когда ласточка улетела, оставив в цветке Дюймовочку! Никогда еще он не видел такой красивой девочки, одного с ним роста. Он низко поклонился ей и спросил, как ее зовут.

— Дюймовочка! — ответила девочка.

— Милая Дюймовочка, — сказал эльф, — согласна ли ты быть моей женой, королевой цветов?

Дюймовочка поглядела на красивого эльфа. Ах, он был совсем не похож на глупого, грязного сынка старой жабы и на слепого крота, в бархатной шубе! И она сразу согласилась.

Тогда из каждого цветка, перегоняя друг друга, вылетели эльфы. Они окружили Дюймовочку и одарили ее чудесными подарками.

Но больше всех других подарков понравились Дюймовочке крылья — пара прозрачных легких крылышек, совсем как у стрекозы. Их привязали Дюймовочке за плечами, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок. То-то была радость!

— Тебя больше не будут звать Дюймовочкой. У нас, эльфов, другие имена, — сказал Дюймовочке король. — Мы будем называть тебя Майей!

И все эльфы закружились над цветами в веселом хороводе, сами легкие и яркие, как лепестки цветов.

А ласточка сидела наверху в своем гнезде и распевала песни, как умела.

Всю теплую зиму эльфы плясали под ее песни. А когда в холодные страны пришла весна, ласточка стала собираться на родину.

— Прощай, прощай! — прощбетала она своей маленькой подруге и полетела через моря, горы и леса домой, в Данию.

Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, который умел хорошо рассказывать сказки. Ласточка рассказала ему про Дюймовочку, а от него и мы узнали эту историю.

Стойкий оловянный солдатик

Было когда-то на свете двадцать пять оловянных солдатиков. Все сыновья одной матери — старой оловянной ложки, — и, значит, приходились они друг другу родными братьями. Это были славные, brave ребята: ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, отвороты синие, пуговицы блестят... Ну, словом, чудо что за солдатик!

Все двадцать пять лежали рядком в картонной коробке. В ней было темно и тесно. Но оловянные солдатик — терпеливый народ, они лежали не шевелясь и ждали дня, когда коробку откроют.

И вот однажды коробка открылась.

— Оловянные солдатик! Оловянные солдатик! — закричал маленький мальчик и от радости захлопал в ладоши.

Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе. Двадцать четыре были совершенно одинаковые — одного от другого не отличить, а двадцать пятый солдатик был не такой, как все. Он оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух.

Вот с этим-то одноногим солдатиком и произошла замечательная история, которую я вам сейчас расскажу.

На столе, где мальчик построил своих солдатиков, было много разных игрушек. Но лучше всех игрушек был чудесный кар-

тонный дворец. Через его окошки можно было заглянуть внутрь и увидеть все комнаты. Перед самым дворцом лежало круглое зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро, и вокруг этого зеркального озера стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди и, выгнув длинные шеи, любовались своим отражением.

Все это было прекрасно, но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге, в широко раскрытых дверях. Она тоже была вырезана из картона; на ней была юбочка из тонкого батиста, на плечах — голубой шарф, а на груди — блестящая брошка, почти такая же большая, как голова ее владелицы, и такая же красивая.

Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, — должно быть, она была танцовщицей. Другую ножку она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик сначала даже решил, что красавица тоже одноногая, как и он сам.

«Вот бы мне такую жену! — подумал оловянный солдатик. — Да только она, наверно, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живет!.. А мой дом — простая коробка, да еще набилось нас туда чуть не целая рота — двадцать пять солдат. Нет, ей там не место! Но познакомиться с ней все же не мешает...»

И солдатик притаился за табакеркой, стоявшей тут же, на столе.

Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и при этом ни разу даже не покачнулась!

Поздно вечером всех оловянных солдатиков, кроме одноногого — его так и не могли найти, — уложили в коробку, и все люди легли спать.

И вот когда в доме стало совсем тихо, игрушки сами стали играть: сначала в гости, потом в войну, а под конец устроили бал. Оловянные солдатик стучали ружьями в стенки своей коробки — им тоже хотелось выйти на волю и поиграть, но они никак не могли поднять тяжелую крышку. Даже щелкунчик принялся кувыркаться, а грифель пошел плясать по доске, оставляя на ней белые следы, — тра-та-та-та, тра-та-та-та! Поднялся такой шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла, да притом еще стихами.

Только одноногий солдатик и танцовщица не двигались с места.

Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз.

Прошло двенадцать. И вдруг — шелк! — раскрылась табакерка.

В этой табакерке никогда и не пахло табаком, а сидел в ней маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом.

— Эй ты, оловянный солдат! — крикнул тролль. — Не больно заглядывайся на плясунью! Она слишком хороша для тебя.

Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит.

— Ах, вот ты как! — сказал тролль. — Ладно же, погоди до утра! Ты меня еще вспомнишь!

Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили его на окно.

И вдруг — то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает? — но только окно распахнулось, и одноногий солдатик полетел с третьего этажа вниз головой, да так, что в ушах у него засвистело. Ну и натерпелся он страху!

Минуты не прошло — и он уже торчал между булыжниками, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, сколько ни шарили по земле, так и не нашли.

Один раз они чуть было не наступили на солдатика, но и тут прошли мимо, не заметив его. Конечно, если бы солдатик, крикнул: «Я тут!» — его бы сейчас же нашли. Но он считал непристойным кричать на улице — ведь он носил мундир и был солдат, да притом еще оловянный.

Мальчик и служанка ушли обратно в дом. И тут вдруг хлынул дождь, да какой! Настоящий ливень!

По улице расползлись широкие лужи, потекли быстрые ручьи. А когда наконец дождь кончился, к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое уличных мальчишек.

— Смотри-ка, — сказал один из них. — Да, никак, это оловянный солдатик!.. Давай-ка отправим его в плаванье!

И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку.

Лодочка поплыла, а мальчики бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши.

Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня! Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то её кружило на месте, то несло вперед.

Оловянный солдатик в лодочке весь дрожал — от каски до сапога, — но держался стойко, как полагается настоящему солдату: ружье на плече, голова кверху, грудь колесом.

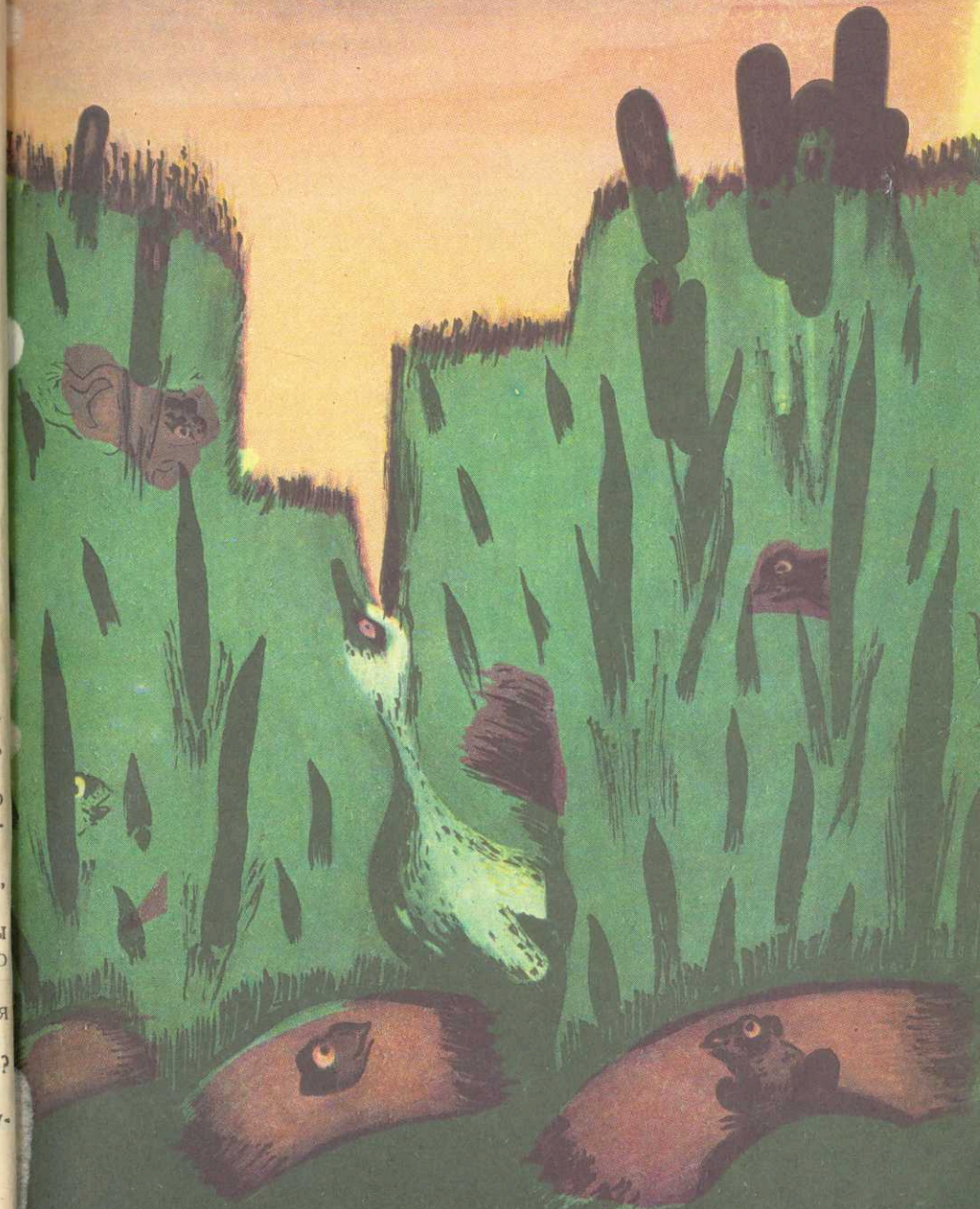
И вот лодочку занесло под широкий мост. Стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку.

«Где же это я? — думал оловянный солдатик. — Ах, если бы со мной была моя красавица танцовщица! Тогда мне все было бы ни о чем...»

В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.

— Ты кто такой? — закричала она. — А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ру-





жье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

— Держите его! Держите! У него нет паспорта!

И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился.

«Я спасен!» — подумал солдатик.

Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Подумать только: за мостом вода с шумом падала вниз — прямо в широкий бурный канал!

Оловянному солдатiku, который плыл в маленьком бумажном кораблике, грозила такая же опасность, как нам, если бы нас в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду.

Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз, но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул.

И вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым берегом, потом левым, потом опять правым и скоро наполнилась водой до самых краев.

Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло... И наконец вода накрыла его с головой.

Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плясуньи!

Но тут он вспомнил старую солдатскую песню:

Шагай вперед, всегда вперед!

Тебя за гробом слава ждет!.. —

и приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине. Однако случилось совсем другое.

Откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба и миглом проглотила солдатика вместе с его ружьем.

Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы, темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке! Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго.

Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла.

Солдатик не мог понять, что случилось. Он приготовился мужественно встретить новые испытания, но вокруг по-прежнему было темно и тихо.

И вдруг словно молния блеснула в темноте.

Потом стало совсем светло, и кто-то закричал:

— Вот так штука! Оловянный солдатик!

А дело было вот в чем: рыбу поймали, свезли на рынок, а

потом она попала на кухню. Кухарка распоролла ей брюхо большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика. Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату.

Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатику поставили на стол, и вдруг — каких только чудес не бывает на свете! — он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу... Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, и на пороге стояла красавица танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость!

Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатались оловянные слезы, но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу, танцовщица смотрела на него, и оба молчали.

Вдруг один из мальчиков — самый маленький — схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверно, его подучил злой тролль из табакерки.

В печке ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко. Он чувствовал, что весь горит — то ли от огня, то ли от любви, — он и сам не знал. Краска сбежала с его лица, он весь полинял — может быть, от огорчения, а может быть, оттого, что побывал в воде и в желудке у рыбы.

Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плясуньи. А плясунья смотрела на него. И солдатик почувствовал, что тает...

В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь, сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она, как бабочка, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула — и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился.

На другой день служанка стала выгребать из печки золу и нашла маленький комочек олова, похожий на сердечко, да обгорелую, черную, как уголь, брошку.

Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной плясуньи.



Н

и много же игрушек было в детской — прямо не сосчитать! А высоко над ними, на шкафу, стояла копилка — глиняная свинья. В спине у нее, как и полагается, была прорезана щель для монет. Сначала эта щель была узенькая, но потом ее чуть-чуть расширили перочинным ножиком, чтобы в нее пролезали и крупные серебряные монеты. Две такие монеты уже лежали на дне ее брюшка, а уж про мелочь и говорить нечего. Мелочью свинья была, как говорится, битком набита, так что и брякнуть не могла. Чего же больше? Ни одна свинья с деньгами не могла бы пожелать лучшей участи. К тому же она еще занимала очень высокое положение: стояла на шкафу и смотрела на всех сверху вниз. Она знала, что денег у нее по горло и, стоит только захотеть, она может купить все игрушки, которые лежат и стоят внизу. А сознавать это довольно приятно, уж во всяком случае свинье.

Игрушки знали, чего стоит свинья и что она о себе думает, но не говорили об этом. Да и к чему? Они и без того находили о чем поболтать.

Однажды, когда в детской никого не было, из полуоткрытого ящика выглянула большая кукла. Она была уже не слишком молода, не раз теряла голову, и поэтому шея у нее была подклеена.

Кукла поглядела направо, налево и сказала:

— Давайте играть в людей. От скуки и это не худо!

— Давайте, давайте! — закричали все и засуетились в своих коробках и ящиках.

Даже картины и те закачались на стенах, хотя им и не следовало бы показывать свою оборотную сторону, потому что на ней, как известно, ничего не нарисовано.

Было уже совсем поздно. Пробило двенадцать часов. В окна заглядывал месяц и светил всюду, не требуя за освещение никакой платы.

В игре приняли участие все игрушки до одной, даже детская коляска, хотя она была такая большая и неуклюжая, что ее считали скорее мебелью, чем игрушкой.

Но коляска на это не обижалась.

— Каждому — свое, — говорила она. — Не всем же быть знатными господами и забавляться с утра до вечера. Надо кому-нибудь и дело делать.

Только одной свиные-копилке послали пригласительный билет. Ее нельзя было просто позвать — она стояла так высоко над всеми, что могла и не расслышать.

Впрочем, и на письменное приглашение свиная не соизволила ответить, придет она или не придет. Да в конце концов так и не пришла. В самом деле, зачем ей опускаться до других? Пусть другие позаботятся, чтоб она все видела, не сходя со своего места.

Делать нечего, пришлось исполнить ее желание. Кукольный театр поставили прямо против шкафа, сценой к свиной.

Праздник решили начать с веселой дружеской беседы, потом предполагалось представление и, наконец, общее чаепитие.

Именно с беседы и началось. Лошадь-качалка высказала несколько мыслей о бегах, скачках и чистоте конской породы, детская коляска — о железных дорогах, о поездах, которые будто бы движутся паром, и о прочих новинках. В самом деле, кто же мог об этом судить, если не они... Лошадь — о лошадях, коляска — о поездах. Стенные часы рассуждали по поводу политики-тики-тики! Часы думали, что идут впереди своего времени, но злые языки утверждали, что они порядком отстают. Бамбуковая тросточка хвалилась своим серебряным колпачком и железным башмачком. Еще бы! Ведь она могла считать себя щеголихой с головы до ног! По углам дивана молча лежали две пухленькие, расшитые шелками подушечки. Обе были премиленькие и преглупенькие.

Наконец началась кукольная комедия.

Куклы на нитках представляли, а куклы без ниток и другие игрушки должны были смотреть и хлопать в ладоши. Те же, у кого не было ладоней, могли шелкать и стучать чем попало.

Впрочем, один бойкий хлыстик наотрез отказался шелкать, когда на сцену выходят старые, потрепанные куклы, и сказал, что он шелкает только молоденьким нарядным куколкам.

— Нет, по-моему, уж если хлопать, так всем, — заявил пистон.

«А мне бы только свой угол! — думала плевательница. — Лишь бы плевать в меня удобно было».

Одним словом, каждый рассуждал по-своему.

Комедия, если говорить по правде, не стоила и гроша ломаного, но актеры играли превосходно. Они показывались зрителям только лучшей своей стороной, потому что эта сторона была раскрашена. А нитки у них были такие длинные, что каждая кукла могла играть выдающуюся роль, или, как говорится, быть из ряда вон выходящей.

Зрители были очень растроганы. Кукла с подклеенной шеей до того размякла, что опять потеряла голову.

Даже свиная с деньгами и та чуть не прослезилась. Ей захотелось сделать что-нибудь хорошее, доброе, — например, упомянуть в своем завещании лучшего из актеров: пусть его похоронят рядом с ней, когда придет пора...

Короче говоря, все были очень, очень довольны. На радостях даже отказались от чая — и хорошо сделали, потому что его не было. Вместо этого опять принялись болтать. Это называлось у них «играть в людей». Не то чтобы они передразнивали людей или насмеялись над ними. Нет, они просто старались вести себя «по-людски»: каждый думал о себе да еще о том, что скажет о нем свиная с деньгами.

А свиная, подумав о своем завещании, уже не могла больше думать ни о чем другом. «Когда придет пора...» Ах, она всегда приходит неожиданно-негаданно...

Хлоп! Неизвестно отчего, свиная вдруг свалилась со шкафа и разбилась вдребезги. Монеты и монетки раскатились во все стороны. Мелочь при этом крутилась волчком, а большие тяжелые монеты неторопливо катились вдоль половиц. Дальше всех катилась одна. Ей очень наскучило лежать в темноте без движения и теперь хотелось постранствовать по белу свету — других посмотреть и себя показать. Что же, так оно и случилось: все монеты и монетки разбрелись в разные стороны, кто куда.

А глиняные черепки от свиной-копилки вымели вместе с мусором.

Но уже на другой день на верхушке шкафа появилась новая свиная-копилка. В брюхе у нее еще не было ни одной монетки, и поэтому, сколько бы ее ни трясли, она не могла брякнуть — совсем как та старая свиная, у которой брюхо было до отказа набито серебряными и медными деньгами. А на первых порах и этого вполне довольно.

Довольно и с вас, милые читатели. Сказке конец.



НОВЫЙ НАРЯД КОРОЛЯ

Много лет назад жил-был король, который страсть как любил наряды и обновки и все свои деньги на них тратил. И к солдатам своим выходил, и в театр выезжал либо в лес на прогулку не иначе как затем, чтобы только в новом наряде шегольнуть. На каждый час дня был у него особый камзол, и как про королей говорят: «Король в гардеробной».

Город, в котором жил король, был большой и бойкий, что ни день приезжали чужестранные гости, и как-то раз заехали двое обманщиков. Они сказались ткачами и заявили, что могут выткать замечательную ткань, лучше которой и помыслить нельзя. И расцветкой-то она необыкновенно хороша, и узором, да и к тому же платье, сшитое из этой ткани, обладает чудесным свойством становиться невидимым для всякого человека, который не на своем месте сидит или непроходимо глуп.

«Вот было бы замечательное платье! — подумал король. — Надел такое платье — сразу видать, кто в твоём королевстве не на своем месте сидит. А еще я смогу отличать умных от глупых! Да, пусть мне поскорее соткут такую ткань!»

И он дал обманщикам много денег, чтобы они немедленно приступили к работе.

Обманщики поставили два ткацких станка и ну показывать, будто работают, а у самих на станках ровнехонько ничего нет. Не церемонясь, потребовали они тончайшего шелку и чистейшего

золота, прикарманили все и продолжали работать на пустых станках до поздней ночи.

«Хорошо бы посмотреть, как подвигается дело!» — подумал король, но таково-то смутно стало у него на душе, когда он вспомнил, что глупец или тот, кто не годится для своего места, не увидит ткани. И хотя верил он, что за себя-то ему нечего бояться, все же рассудил, что лучше послать на разведку кого-нибудь еще.

Ведь весь город уже знал, каким чудесным свойством обладает ткань, и каждому не терпелось убедиться, какой никудышный или глупый его сосед.

«Пошлю к ткачам своего честного старого министра! — решил король. — Уж кому-кому, как не ему, рассмотреть ткань, ведь он умен и как никто лучше подходит к своему месту!..»

И вот пошел бравый старый министр в зал, где два обманщика работали на пустых станках.

«Господи помилуй! — подумал старый министр, вытаращив глаза. — Редь я ничего-таки не вижу!»

Но вслух он этого не сказал.

А обманщики приглашают его подойти поближе, спрашивают, веселы ли краски, хороши ли узоры, и при этом все указывают на пустые станки, а бедняга министр как ни таращил глаза, все равно ничего не увидел, потому что и видеть-то было нечего.

«Господи боже! — думал он. — Неужто я глупец? Вот уж никогда не думал! Только чтоб никто не узнал! Неужто я не гожусь для своего места. Нет, никак нельзя признаться, что я не вижу ткани!»

— Что ж вы ничего не скажете? — спросил один из ткачей.

— О, это очень мило! Совершенно очаровательно! — сказал старый министр, глядя сквозь очки. — Какой узор, какие краски!.. Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно нравится!

— Ну что ж, мы рады! — сказали обманщики и ну называть краски, объяснять редкостные узоры. Старый министр слушал и запоминал, чтобы в точности все доложить королю.

Так он и сделал.

А обманщики потребовали еще денег, шелку и золота: дескать, все это нужно им для тканья. Но все это они опять прикарманили, на ткань не пошло ни нитки, а сами по-прежнему продолжали ткать на пустых станках.

Скоро послал король другого честного чиновника посмотреть, как идет дело, скоро ли будет готова ткань. И с этим сталось то же, что и с министром, он все смотрел, смотрел, но так ничего и не высмотрел, потому что, кроме пустых станков, ничего и не было.

— Ну как? Правда, хороша ткань? — спрашивают обманщики и ну объяснять-показывать великолепный узор, которого и в помине не было.

«Я не глуп! — подумал чиновник. — Так, стало быть, не подхожу к доброму месту, на котором сижу? Странно! Во всяком

случае, нельзя и виду подавать!»

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, и выразил свое восхищение прекрасной расцветкой и замечательным узором.

— О да, это совершенно очаровательно! — доложил он королю.

И вот уж весь город заговорил о том, какую великолепную ткань соткали ткачи. А тут и сам король надумал посмотреть на нее, пока она еще не снята со станка.

С целой толпой избранных придворных, среди них и оба честных старых чиновника, которые уже побывали там, вошел он к двум хитрым обманщикам. Они ткали изо всех сил, хотя на станках не было ни нитки.

— Magnifique! Не правда ли? — сказали оба бравых чиновника. — Соизволите видеть, ваше величество, какой узор, какие краски!

И они указали на пустой станок, так как думали, что другие-то уж непременно увидят ткань.

«Что такое? — подумал король. — Я ничего не вижу! Это ужасно. Неужто я глуп? Или не гожусь в короли? Хуже не придумаешь!»

— О, это очень красиво! — сказал король. — Даю свое высочайшее одобрение!

Он довольно кивал и рассматривал пустые станки, не желая признаться, что ничего не видит. И вся его свита глядела, глядела и тоже видела не больше всех прочих, но говорила вслед за королем: «О, это очень красиво!» — и советовала ему сшить из новой великолепной ткани наряд к предстоящему торжественному шествию. «Это magnifique! Чудесно! Excellent!»² — только и слышалось со всех сторон. Все были в совершенном восторге. Король пожаловал каждому из обманщиков рыцарский крест в петлицу и удостоил их звания придворных ткачей.

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за шитьем и сожгли больше шестнадцати свечей. Всем видно было, что они очень торопятся управиться в срок с новым нарядом короля. Они делали вид, будто снимают ткань со станков, они резали воздух большими ножницами, они шили иглой без нитки и наконец сказали:

— Ну вот наряд и готов!

Король вошел к ним со своими самыми знатными придворными, и обманщики, высоко поднимая руки, как будто держали в них что-то, говорили:

— Вот панталоны! Вот камзол! Вот мантия! — И так далее. — Все легкое, как паутинка! Впору подумать, будто на теле и нет ничего, но в этом-то и вся хитрость!

— Да, да! — говорили придворные, хотя они ровно ничего не видели, потому что и видеть-то было нечего.

¹ Великолепно! (франц.)

² Превосходно! (франц.)

— А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите снять ваше платье! — сказали обманщики. — Мы оденем вас в новое, вот тут, перед большим зеркалом!

Король разделся, и обманщики сделали вид, будто надевают на него одну часть новой одежды, за другой. Они обхватили его за талию и сделали вид, будто прикрепляют что-то, — это был шлейф, и король закрутился-завертелся перед зеркалом.

— Ах, как идет! Ах, как дивно сидит! — в голос говорили придворные. — Какой узор, какие краски! Слов нет, роскошное платье!

— Балдахин ждет, ваше величество! — доложил обер-церемониймейстер. — Его понесут над вами в процессии.

— Я готов, — сказал король. — Хорошо ли сидит платье?

И он еще раз повернулся перед зеркалом — ведь надо было показать, что он внимательно рассматривает наряд.

Камергеры, которым полагалось нести шлейф, пошарили руками по полу и притворились, будто приподнимают шлейф, а затем пошли с вытянутыми руками — они не смели и виду подать, что нести-то нечего.

Так и пошел король во главе процессии под роскошным балдахином, и все люди на улице и в окнах говорили:

— Ах, новый наряд короля бесподобен! А шлейф-то какой красивый. А камзол-то как чудно сидит!

Ни один человек не хотел признаться, что он ничего не видит, ведь это означало бы, что он либо глуп, либо не на своем месте сидит. Ни одно платье короля не вызывало еще такого восторга.

— Да ведь король голый! — сказал вдруг какой-то ребенок.

— Господи боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — сказал его отец.

И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

— Он голый! Вот ребенок говорит, что он голый!

— Он голый! — закричал наконец весь народ.

И королю стало не по себе: ему казалось, что люди правы, но он думал про себя: «Надо же выдержать процессию до конца».

И он выступал еще величавее, а камергеры шли за ним, неся шлейф, которого не было.



Жил-был бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но какое-никакое, а все же королевство, — хоть женись, и вот жениться-то он как раз и хотел.

Оно, конечно, дерзко было взять да спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Но он осмелился. Имя у него было известное на весь свет, и сотни принцесс сказали бы ему спасибо, но вот что ответит императорская дочь?

А вот послушаем.

На могиле отца принца рос розовый куст, да какой красивый! Цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем одна-единственная роза. Зато сладок был ее аромат, понюхаешь — и сразу забудутся все твои горести и заботы. А еще был у принца соловей, и пел он так, будто в горлышке у него были собраны все самые чудесные напевы на свете. Вот и решил принц подарить принцессе розу и соловья. Положили их в большие серебряные ларцы и отослали ей.

Повелел император принести ларцы к себе в большой зал — принцесса играла там в гости со своими фрейлинами, ведь других-то дел у нее не было. Увидела принцесса ларцы с подарками, захопала в ладоши от радости.

— Ах, если б тут была маленькая киска! — сказала она.

Но появилась чудесная роза.

— Ах, как мило сделано! — в голос сказали фрейлины.

— Мало сказать мило, — отозвался император, — прямо-таки недурно!

Только принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

— Фи, папа! — Она не искусственная, она настоящая.

— Фи! — в голос повторили придворные. — Настоящая!

— Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! — сказал император.

И вот выпорхнул из ларца соловей и запел так дивно, что поначалу не к чему и придраться было.

— Superbe! Charmant!¹ — сказали фрейлины; все они болтали по-французски одна хуже другой.

— Эта птица так напоминает мне органчик покойной императрицы! — сказал один старый придворный. — Да, да, и звук тот же, и манера!

— Да! — сказал император и заплакал, как ребенок.

— Надеюсь, птица не настоящая? — спросила принцесса.

— Настоящая! — ответили посланцы, доставившие подарки.

— Ну так пусть летит, — сказала принцесса и наотрез отказалась принять принца.

Только принц не унывал: вымазал лицо черной и бурой краской, нахлобучил на глаза шапку и постучался в дверь.

— Здравствуйте, император! — сказал он. — Не найдется ли у вас во дворце местечка для меня?

— Много вас тут ходит да ищет! — отвечал император. — Впрочем, постой, мне нужен свинопас! У нас пропасть свиней!

Так и определили принца свинопасом его величества и убогую каморку рядом со свинарником отвели, и там он должен был жить. Ну вот, просидел он целый день за работой и к вечеру сделал чудесный маленький горшочек. Весь увешан бубенцами горшочек, и когда в нем что-нибудь варится, бубенцы вызванивают старинную песенку:

Ах, мой милый Августин,

Все прошло, прошло, прошло!

Но только самое занятное в горшочке то, что если подержать над ним в пару палец — сейчас же можно узнать, что у кого готовится в городе. Слов нет, это было почище, чем роза.

Вот раз прогуливается принцесса со всеми фрейлинами и вдруг слышит мелодию, что вызванивали бубенцы. Стала она на месте, а сама так вся и сияет, потому что она тоже умела наигрывать «Ах, мой милый Августин», — только эту мелодию и только одним пальцем.

— Ах, ведь и я это могу! — сказала она. — Свинопас-то у нас, должно быть, образованный. Послушайте, пусть кто-нибудь пойдет и спросит, что стоит этот инструмент.

¹ Бесподобно! Великолпно! (франц.)

И вот одной из фрейлин пришлось пройти к свинопасу, только она надела для этого деревянные башмаки.

— Что возьмешь за горшочек? — спросила она.

— Десять поцелуев принцессы! — отвечал свинопас.

— Господи помилуй!

— Да уж никак не меньше! — отвечал свинопас.

— Ну, что он сказал? — спросила принцесса.

— Это и выговорить-то невозможно! — отвечала фрейлина.

Это ужасно!

— Так шепни на ухо!

И фрейлина шепнула принцессе.

— Какой невежа! — сказала принцесса и пошла дальше, да не успела сделать и нескольких шагов, как бубенцы опять зазвенели так славно:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

— Послушай, — сказала принцесса, — поди спроси, может, он согласится на десять поцелуев моих фрейлин?

— Нет, спасибо! — отвечал свинопас. — Десять поцелуев принцессы, или горшочек останется у меня.

— Какая скука! — сказала принцесса. — Ну, станьте вокруг меня, чтобы никто не видел!

Загородили фрейлины принцессу, растопырили юбки, и свинопас получил десять поцелуев принцессы, а принцесса — горшочек.

Вот радости-то было! Весь вечер и весь следующий день стоял на огне горшочек, и в городе не осталось ни одной кухни, будь то дом камергера или сапожника, о которой бы принцесса не знала, что там стряпают. Фрейлины плясали от радости и хлопали в ладоши.

— Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

— В высшей степени интересно! — подтвердила обер-гофмейстерина.

— Но только держите язык за зубами, ведь я дочь императора!

— Помилуйте! — сказали все.

А свинопас-то есть принц, но для них-то он был по-прежнему свинопас — даром времени не терял и смастерил трещотку. Стоит повертеть ею в воздухе — и вот уже она сыплет всеми вальсами и польками, какие только есть на свете.

— Но это же Superbe! — сказала принцесса, проходя мимо. — Просто не слыхала ничего лучше! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Только целоваться я больше не стану!

— Он требует сто поцелуев принцессы! — доложила фрейлина, выйдя от свинопаса.

— Да он, верно, сумасшедший! — сказала принцесса и пошла

дальше, но, сделав два шага, остановилась. — Искусство надо поощрять! — сказала она. — Я дочь императора. Скажите ему, я согласна на десять поцелуев, как вчера, а остальные пусть получит с моих фрейлин!

— Ах, нам так не хочется! — сказали фрейлины.

— Какой вздор! — сказала принцесса. — Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!

Пришлось фрейлине еще раз сходить к свинопасу.

— Сто поцелуев принцессы! — сказал он. — А нет — каждый останется при своем.

— Становитесь вокруг! — сказала принцесса, и фрейлины обступили ее и свинопаса.

— Это что еще за сборище у свинарника? — спросил император, выйдя на балкон. Он протер глаза и надел очки. — Не иначе как фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задники своих туфель — туфлями-то ему служили стоптанные башмаки. И-эх, как быстро он зашагал!

Спустился император во двор, подкрадывается потихоньку к фрейлинам, а те только тем и заняты, что поцелуи считают: ведь надо же, чтобы дело сладилось честь по чести и свинопас получил ровно столько, сколько положено, — ни больше ни меньше. Вот почему никто и не заметил императора, а он привстал на цыпочки и глянул.

— Это еще что такое? — сказал он, расобрав, что принцесса целует свинопаса, да как хватит их туфлей по голове!

Случилось это в ту минуту, когда свинопас получал свой семьдесят шестой поцелуй.

— Neгаus! — в гневе сказал император и вытолкал принцессу со свинопасом из пределов своего государства.

Стоит и плачет принцесса, свинопас ругается, а дождь так и поливает.

— Ах я горемычная! — причитает принцесса. — Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах, я несчастная!

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду — и вот перед ней уже принц в царственном облачении, да такой пригожий, что принцесса невольно сделала реверанс.

— Теперь я презираю тебя! — сказал он. — Ты не захотела выйти за честного принца. Ты ничего не поняла ни в соловье, ни в розе, зато могла целовать за безделки свинопаса. Поделом тебе!

Он ушел к себе в королевство и закрыл дверь на засов. А принцессе только и оставалось стоять да петь:

— Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

¹ Вон! (нем.).



Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку — отвоевал свое, а теперь держал путь к дому. Как вдруг навстречу ему старая ведьма, уродина уродливая: нижняя губа чуть ли не до самой груди висит.

— Добрый вечер, служивый! — молвила она. — Ишь сабля-то у тебя славная какая и ранец-то какой большой! Словом, молодчина солдат! Ну, сейчас, у тебя будет денег сколько хочешь.

— Спасибо, старая карга! — отвечал солдат.
— Видишь, вон то старое дерево? — продолжала ведьма и показала на дерево, стоявшее обок дороги. — Внутри оно совсем пустое. Полезай наверх — увидишь дупло, спускайся в него до самого низу. Я обвяжу тебя веревкой, а как кликнешь, вытасу назад.
— Да зачем я туда полезу? — спросил солдат.
— За деньгами! — ответила ведьма. — Дело-то вот какое. Как спустишься в самый низ, окажешься в большом подземном ходе, там совсем светло, потому как горит там сто, а то и несколько раз по сто ламп. Еще увидишь три двери, их можно отворить, ключи торчат снаружи. Зайдешь в первую комнату — увидишь посреди большой сундук, а на нем собака. Глаза у нее с чайную чашку, только ты не робей! Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, потом мигом к собаке, хватай и сажай ее на передник, открывай сундук и бери денег

сколько хочешь. Только в сундуке этом сплошь медяки, а захочешь серебра, ступай в другую комнату; только и там сидит собака, глаза что мельничные колеса, но ты не робей, сажай ее на передник и бери деньги! Ну, а уж захочется золота, добудешь и золота, унесешь, сколько силы станет, зайди только в третью комнату. И там тоже сундук с деньгами, а на нем собака, и глаза у нее большущие, что твоя Круглая башня¹. Всем собакам собака, верь моему слову! Только ты и тут не робей! Знай сажай ее на передник, и ничего она тебе не сделает, а сам бери золота из сундука сколько хочешь!

— Так-то оно так, — молвил солдат, — да вот что ты с меня за это запросишь, старая карга? Ведь не даром же ты для меня стараешься!

— Ни гроша я с тебя не возьму, — отвечала ведьма. — Только принеси мне старое огниво, его там позабыла моя бабка, когда спускалась туда в последний раз.

— Ну ладно, обвязывай меня веревкой! — сказал солдат.
— Вот! — сказала ведьма. — А вот и мой синий клетчатый передник.

Залез солдат на дерево, забрался в дупло и — верно ведь сказала ведьма! — очутился в большом проходе, и горит там не одна сотня ламп.

Открывает солдат первую дверь. В комнате и впрямь сидит собака, глаза с чайные чашки, таращится на солдата.

— Хороша красотка! — сказал солдат, посадил собаку на ведьмин передник, набрал медяков, сколько влезло в карман, закрыл сундук, водворил собаку на место и пошел в другую комнату.

Эге! И тут сидит собака, глаза что мельничные колеса.
— Ну, чего выставилась, смотри, глаза протаращишь! — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник, а когда увидел, сколько в сундуке серебра, вытряхнул медяки и набил оба кармана и ранец серебром.

Ну, теперь в третью комнату. Вот так страшилище! Сидит там собака, глаза и впрямь как Круглая башня и ворочаются ровно колеса.

— Добрый вечер! — сказал солдат и взял под козырек: такой собаки он отродясь не видывал. «Ну да что мне в ней, — подумал он, но не удержался, ссадил собаку и открыл сундук.

Господи боже! Золота-то сколько! Хоть весь Копенгаген покупай, всех сахарных поросят у торговки сладостями, всех оловянных солдатиков, всех лошадок-качалок и все кнутики на свет! Вот это деньги так деньги! Выбросил солдат все свое серебро из карманов и из ранца и набрал золота взамен; до того набил все карманы и ранец, и кивер, и сапоги, что насылу с места мог

¹ Башня, воздвигнутая в Копенгагене астрономом Тихо Браге, который устроил в ней обсерваторию.

сдвинуться. Ну, теперь-то он при деньгах! Посадил он собаку на сундук, захлопнул дверь и закричал наверх:

— А ну тащи меня, старая карга!

— Огниво взял? — спросила ведьма.

— И то верно, — отвечал солдат, — совсем было забыл. —

Пошел и взял огниво.

Вытащила его наверх ведьма, и вот он опять на дороге, только теперь карманы его, и сапоги, и ранец, и кивер полны денег.

— На что тебе огниво? — спросил солдат.

— Не твое дело! — отвечала ведьма. — Получил свое — отдавай мое! Ну же!

— Как бы не так! — сказал солдат. — Сей же час говори, на что оно тебе, не то саблю из ножен — и голова с плеч!

— Не скажу! — упорствовала ведьма.

Тут солдат взял да и отрубил ей голову. Упала ведьма замертво, а он связал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, огниво — в карман и напрямик в город.

Хорош был город, и на самый хороший постоялый двор явился солдат, спросил лучшие комнаты и свою любимую еду — ведь он теперь богатый, вон сколько у него денег!

Стал слуга чистить его сапоги и подивился, как это у такого богатого барина такие старые сапоги, да только солдат еще не успел купить новых. Но уже на завтра были у него и добрые сапоги, и платье под стать! Теперь уж солдат знатный барин, и стали ему рассказывать обо всем, чем славился город, а также о короле и о том, какая прелестная у него дочь-принцесса.

— А как бы ее повидать? — спросил солдат.

— Ее совсем нельзя повидать! — отвечали ему в голос. — Живет она в большом медном замке, а вокруг столько стен да башен! Никто, разве что сам король, не смеет бывать у нее, потому как было гаданье, что дочь его выйдет замуж за совсем простого солдата, а это королю не по вкусу.

«Эх, как бы на нее поглядеть!» — думал солдат, да только кто бы ему позволил!

Жил он теперь куда как весело: ходил в театры, выезжал на прогулки в королевский сад и много денег раздавал беднякам, и хорошо делал! Ведь он по себе знал, каково сидеть без гроша в кармане. Ну, а теперь он был богат, разодет в пух и прах, и столько друзей у него объявилось, и все называли его славным малым, кавалером что надо, и это ему очень нравилось. Но так как деньги-то солдат что ни день только тратил, а взамен ничего не получал, то и осталось у него под конец всего-навсего два гроша, и пришлось ему перебраться из отменных комнат в крохотную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги да подлатывать, а из прежних дружков никто больше к нему не навещался — уж больно много ступенек надо было пересчитать, чтобы до него добраться.

Как-то раз совсем темный был вечер, а солдат не мог купить себе даже свечу; и тут вспомнилось ему, что при огниве, которое

он взял в пустом дереве, куда спускала его ведьма, был огарок. Достал солдат огниво с огарком и только ударил по кремню и высек огонь, как дверь распахнулась, и перед ним предстала собака с глазами в чайную чашку, та самая, что он видел в подземелье.

— Чего изволите, господин? — спросила она.

— Вот так штука! — сказал солдат. — Огниво-то, видать, не простое, теперь у меня будет все, чего захочу! А ну, добудь мне денег! — сказал он собаке — и вот уж ее нет как нет, а вот уж она опять тут как тут, и в зубах у нее большой мешок с деньгами.

Распознал солдат, какое чудесное это огниво. Ударишь раз — явится собака, что сидела на сундуке с медяками; ударишь два — явится та, у которой серебро; ударишь три — явится та, у которой золото.

Вновь перебрался солдат в отменные комнаты, стал ходить в добром платье, и все его прежние дружки сей же час признали его, и вновь стал он им мил и люб.

И вот пришло солдату на ум: «Экая несурaziца — нельзя повидать принцессу! Уж такая, говорят, красавица, да что толку, раз сидеть ей весь век в медном замке с башнями! Неужто мне так и не доведется взглянуть на нее? А ну-ка где мое огниво?» И он ударил по кремню, и вот уж перед ним собака с глазами в чайную чашку.

— Оно хотя и поздненько, — сказал солдат, — да уж так-то мне захотелось взглянуть на принцессу, ну хоть одним глазком!

Собака сейчас за дверь, и не успел солдат оглянуться, как она опять тут как тут, и на спине у нее принцесса сидит спит. Чудо как хороша принцесса, сразу видать, не какая-нибудь, а самая настоящая! Не утерпел солдат, поцеловал ее — недаром он был молодчина-солдат.

Отнесла собака принцессу обратно, а как наступило утро и стали король с королевой чай разливать, рассказала принцесса, какой ей был нынче удивительный сон. Будто ехала она верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.

— Хорошенькое дело! — сказала королева.

И вот на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху фрейлину, наказали ей разузнать, было ли то в сон или въявь.

А солдату опять страх как захотелось повидать прекрасную принцессу! И вот ночью явилась собака, схватила принцессу и бросилась с ней со всех ног, только старуха фрейлина вскочила в непромокаемые сапоги и, не отставая, — вдогонку. Как увидела фрейлина, что собака скрылась с принцессой в большом доме, подумала: «Ну, теперь-то я знаю, где и что!» — и поставила мелом большой крест на воротах. А потом отправилась домой спать. А собака снова вышла с принцессой, да только как приметил крест, взяла кусок мела и понаставила крестов на всех воротах в городе, и ловко сделала: теперь уж фрейлине никак не

найти ворота дома, где живет солдат, раз на всех остальных тоже кресты.

С утра пораньше король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, где же это была ночью принцесса! — Вот где! — сказал король, как только увидел первые ворота с крестом.

— Нет, вот где, муженек! — сказала королева, завидя крест на других воротах.

— А вот еще один, и еще! — сказали все в один голос.

Куда ни глянь — везде были кресты на воротах. Тут уж все поняли, что не найти им того, кого искали.

Только королева была ох как умна и умела не только в карете разъезжать. Взяла она свои большие золотые ножницы, нарезала из шелка лоскутов и сшила этаким маленьким хорошеньким мешочек, насыпала его мелкой-мелкой гречневой крупой и привязала на спину принцессе, а потом прорезала в нем дырочку, чтобы крупа сыпалась на дорогу, которой ездил принцесса.

И вот опять явилась собака, посадила принцессу на спину и побежала к солдату, который уж так полюбил принцессу, что стал жалеть, отчего он не принц и не может взять ее в жены.

Не заметила собака, что от самого замка до окна солдата, куда она вскочила с принцессой, за нею сыплется крупа. Так вот и узнали король с королевой, куда отлучалась их дочь, и солдата посадили в тюрьму.

Темно было в тюрьме и тоскливо. Засадил его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Весело ли слышать такие слова, а огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе.

Утром увидел солдат сквозь железные прутья оконца — торопится народ за город, смотреть, как его будут вешать. Били барабаны, маршировали солдаты. Все бежали сломя голову, и среди прочих сапожный подмастерье в кожаном переднике и башмаках. Он не то что бежал, а прямо-таки мчался галопом, так что один башмак слетел у него с ноги и угодил прямо в стену, у которой сидел и смотрел сквозь решетку солдат.

— Эй мастеровой! — крикнул солдат. — Не торопись, не такая уж у тебя срочная работа! Без меня ведь все равно дело не сделается! А вот коли сбегаешь ко мне домой да принесешь мне мое огниво, заработаешь четыре гроша. Только одна нога здесь, другая там!

Не прочь был заработать четыре гроша мальчишка и стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату, и тут... А вот сейчас и узнаем, что тут!

За городом была построена большая виселица, а вокруг стояли солдаты и тьма-тьмушная народу. Король с королевой восседали на пышном троне прямо напротив судей и всего королевского совета.

Стоит уже солдат на лестнице, и вот-вот накинута ему петля на шею, и тогда сказал он, что ведь всегда, когда казнят преступника, исполняют какое-нибудь его невинное желание. А ему так

хочется выкурить трубочку, ведь это будет его последняя на этом свете!

Снизшел король к этой просьбе, и тут достал солдат огниво и ударил по кремню. Раз, два, три! — и вот стоят перед ним все три собаки; и та, что с глазами в чайную чашку, и та, что с глазами, как мельничные колеса, и та, что с глазами, как Круглая башня.

— Ну-ка, поспособите, не хочу, чтоб меня вешали! — сказал солдат, и тут как кинутся собаки на судей да на королевский совет; кого за ноги схватят, кого за нос, и ну подбрасывать, да так высоко, что все как падали наземь, так и разбивались вдребезги.

— Не хочу! — закричал король, да только самая большая собака схватила и его вместе с королевой да как подбросит вслед за остальными!

Тут уж испугались солдаты, а весь народ закричал:

— Солдатик, будь нам королем и возьми себе прекрасную принцессу!

И вот солдата посадили в королевскую карету. Три собаки плясали перед каретой и кричали «ура!», мальчишки свистели, засунув в рот пальцы, а солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из медного замка и стала королевой, и это ей очень понравилось!

Свадьбу играли восемь дней, и собаки тоже сидели за столом и делали от удивления большие глаза.



Никто на свете не знает столько историй, сколько Оле-Лукойе. Вот мастер рассказывать-то! Вечером, когда дети смирно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних чулках он подымается тихонько по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет делью в глаза сладким молоком. Веки у детей начинают слипаться, и они уже не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылок. Подует — и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно — у Оле-Лукойе нет ведь злого умысла; он хочет только, чтобы дети уgomонились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать истории.

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета, — он отликает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Подмышками у него по зонтику: один с картинками — его он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся волшебные сказки, другой совсем простой, гладкий, — его он раскрывает над нехорошими детьми; ну, они и спят всю ночь как убитые, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне.

Послушаем же о том, как Оле-Лукойе навешал каждый вечер одного мальчика, Яльмара, и рассказывал ему истории! Это будет целых семь историй: в неделе ведь семь дней.

ПОНЕДЕЛЬНИК

— Ну вот, — сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель, — теперь украсим комнату!

И в один миг все комнатные цветы превратились в большие деревья, которые тянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку, а вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом (если бы только вы захотели его попробовать) слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое!

Вдруг в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара, поднялись ужасные стоны.

— Что там такое? — сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.

Оказывается, это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были рассыпаться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка: он очень хотел помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара, слушать ее было просто ужасно! На каждой странице стояли большие буквы, а с ними рядом маленькие, и так целым столбцом одна под другой — это была пропись; сбоку же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были стоять.

— Вот как надо держаться! — говорила пропись. — Вот так, с легким наклоном вправо!

— Ах, мы бы и рады, — отвечали буквы Яльмара, — да не можем! Мы такие плохонькие!

— Так вас надо немного подтянуть! — сказал Оле-Лукойе.

— Ой, нет! — закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.

— Ну, теперь нам не до историй! — сказал Оле-Лукойе. — Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел все буквы Яльмара так, что они стояли уже ровно и бодро, как твоя пропись. Но утром, когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде.

Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе дотронулся своею волшебной брызгалкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать, и болтали они о себе все, кроме плевательницы: эта молчала и сердилась про себя на их тщеславие: говорят только о себе да о себе и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность: высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо дворцов за лес, в далекое море.

Оле-Лукойе дотронулся волшебной брызгалкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по земле их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена в красное с белым, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей с золотыми коронами на шеях и сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что они слышали от бабочек.

Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные и голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а майские жуки гудели: «Жуу! Жуу!»: всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове история.

Да, вот это было плавание!

Леса то густели, и темнели, то становились похожими на прекрасные сады, озаренные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка — такого редко купишь у торговки. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою долю; Яльмар — побольше, принцесса — поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками, — вот что значит настоящие-то принцы!

Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через город, где жила его старая няня, которая носила его на руках, когда он был еще малюточкой, и очень

любила своего питомца. И вот он увидел ее: она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:

— Мой Яльмар, тебя вспоминаю
Почти каждый день, каждый час!
Сказать не могу, как желаю
Тебя увидеть вновь хоть раз!
Тебя ведь я в люльке качала,
Учила ходить, говорить
И в щечки и в лоб целовала.
Так как мне тебя не любить!

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал историю.

СРЕДА

Ну и дождь лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стоит вровень с подоконником. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.

— Хочешь прогуляться, Яльмар? — спросил Оле. — Побываешь ночью в чужих землях, а к утру — опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась; они проплыли по улицам, мимо церкви, и оказались среди сплошного огромного озера. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длиною вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими раз, другой, но напрасно.. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и — бах! — упал прямо на палубу.

Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.

— Ишь какой! — сказали куры.

А индейский петух надулся и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и кричали: «Дур-рак! Дур-рак!»

Аист рассказал им про жаркую Африку, про пирамиды и страусов, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

— Ну не дурак ли?
— Конечно, дурак! — сказал индейский петух и сердито забормотал.

Аист замолчал и стал думать о своей Африке.
— Какие у вас чудесные тонкие ноги! — сказал индейский петух. — Почему аршин?

— Кряк! Кряк! Кряк! — закричали смешливые утки, но аист как будто и не слышал.

— Могли бы и вы посмеяться с нами! — сказал аисту индейский петух. — Очень забавно было сказано! Да куда там, для него это слишком низко! И вообще нельзя сказать, чтобы он отлучался понятиливостью. Что ж, будем забавлять себя сами!

И куры кудахтали, утки кричали, и это их ужасно забавляло. Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу — он уже успел отдохнуть. Аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. Куры кудахтали, утки закричали, а индейский петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.

— Завтра из вас сварят суп! — сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кровати.

Славное путешествие проделали они ночью с Оле-Лукойей!

ЧЕТВЕРГ

— Знаешь что? — сказал Оле-Лукойе. — Только не пугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! — И правда, в руке у него была хорошенькая мышка. — Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят!

— А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар.

— Уж положишься на меня! — сказал Оле-Лукойе. Он дотронулся до мальчика своею волшебной брызгалкой, и Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и наконец сделался величиною с палец.

— Теперь можно одолжить мундир у оловянного солдата. По-моему, такой наряд тебе вполне подойдет: мундир ведь так красит, а ты идешь в гости!

— Хорошо! — согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдата.

— Не угодно ли вам сесте в наперсток вашей матушки? — сказала Яльмару мышка. — Я буду иметь честь отвезти вас.

— Ах, какое беспокойство для фрекен! — сказал Яльмар, и они поехали на мышинную свадьбу.

Проскользнув в дыру, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.

— Правда, ведь, чудный запах? — спросила мышка-возница. — Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались и до зала, где праздновалась свадьба. Направо, перешепываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы, налево, покручивая лапками усы, — мышки-кавалеры, а посередине, на выеденной корке сала, возвышались сами жених с невестой, и целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку, оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зал, как и коридор, был весь смазан салом, другого угощения и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши объявили, что свадьба была великолепна и что они очень приятно провели время.

Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдата.

ПЯТНИЦА

— Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе! — сказал Оле-Лукойе. — Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле, — говорят они мне, — мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! — добавляют они с глубоким вздохом. — Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньгами!

— А что мы будем делать сегодня ночью? — спросил Яльмар.

— Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Берттой; а еще сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков!

— Знаю, знаю! — сказал Яльмар. — Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это было уж сто раз!

— Да, а сегодня ночью будет сто первый, и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им было о чем задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их.

Затем молодые получили подарки, но от угощения отказались: они были сыты своей любовью.

— Что ж, поедем теперь на дачу или отправимся за границу? — спросил молодой.

На совет пригласили опытную путешественницу, ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была насадкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые кисти винограда, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь и понятия не имеют.

— Зато там нет нашей кудрявой капусты! — сказала курица. — Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копать сколько угодно! А еще нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

— Да ведь кочаны похожи как две капли воды! — сказала ласточка. — К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

— Ну, к этому можно привыкнуть! — сказала курица.

— А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!

— То-то и хорошо для капусты! — сказала курица. — Да, в конце-то концов, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарыща-то была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самой лучшей в мире! Такой недостойн и жить в ней! — Тут курица заплакала. — Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

— Да, курица — особа вполне достойная! — сказала кукла Берта. — Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам — то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

СУББОТА

— А сегодня будешь рассказывать? — спросил Яльмар, как только Оле-Лукойе уложил его в постель.

— Сегодня некогда! — ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. — Погляди-ка вот на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли маленькие китайцы и кивали головами.

— Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! — продолжал Оле. — Завтра ведь праздник, воскресенье! Мне надо пойти на колокольню — посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола, не то они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле — посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди; надо снять с неба и перечистить все звезды. Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеровать каждую звезду и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом каждую поставить на свое место, иначе они не будут держаться и посыплутся с неба одна за другой!

— Послушайте-ка вы, господин Оле-Лукойе! — сказал вдруг висевший на стене старый портрет. — Я прадедушка Яльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказываете мальчику сказки; но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды — такие же небесные тела, как наша Земля, тем-то они и хороши!

— Спасибо тебе, прадедушка! — отвечал Оле-Лукойе. — Спасибо! Ты — глава фамилии, родоначальник, но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; римляне и греки звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими и малыми. Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.

— Ну, уж нельзя и высказать своего мнения! — сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

— Добрый вечер! — сказал Оле-Лукойе.

Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

— А теперь ты расскажи мне историю про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушину ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иглой.

— Ну нет, хорошенького понемножку! — сказал Оле-Лукойе. — Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе. Но он знает только две сказки:

одна бесподобно хороша, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать как!

Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

— Сейчас ты увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Кафтан на нем весь расшит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развевается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала каждого спрашивал:

— Какие у тебя отметки за поведение?

— Хорошие! — отвечали все.

— Покажи-ка! — говорил он.

Приходилось показывать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудесную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, — позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли — они сразу крепко прирастали к седлу.

— А я ничуть не боюсь его! — сказал Яльмар.

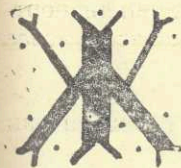
— Да и нечего бояться! — сказал Оле. — Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки.

— Вот это поучительно! — пробормотал прадедушкин портрет. — Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение.

Он был очень доволен.

Вот и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.

Принцесса на горошине



ил-был принц, он хотел взять себе в жены принцессу, да только настоящую принцессу. Вот он и объехал весь свет, искал такую, да повсюду было что-то не то; принцесс было полно, а вот настоящие ли они, этого он никак не мог распознать до конца, всегда с ними было что-то не в порядке. Вот и воротился он домой и очень горевал:

уж так ему хотелось настоящую принцессу.

Как-то вечером разыгралась страшная буря: сверкала молния, гремел гром, дождь лил как из ведра, ужас что такое! И вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять.

У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды! Вода стекала с ее волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она говорила, что она настоящая принцесса.

«Ну, это мы разузнаем!» — подумала старая королева, но ничего не сказала, а пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки и положила на доски горошину, а потом взяла двадцать тюфяков и положила их на горошину, на тюфяки еще двадцать перин из гагачьего пуха.

На этой постели и уложили на ночь принцессу.

Утром ее спросили, как ей спалось.

— Ах, ужасно плохо! — отвечала принцесса. — Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели!

Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках!
Это просто ужас что такое!

Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Еще бы, она почувствовала горошину через двадцать тюфяков и двадцать перин из гагачьего пуха! Такой нежной может быть только настоящая принцесса.

Принц взял ее в жены, ведь теперь-то он знал, что берет за себя настоящую принцессу, а горошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть и поныне, если только никто ее не стащил. Знайте, что это правдивая история!



алеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. Было у него одиннадцать сыновей и одна дочь, Элиза. Одиннадцать братьев-принцев ходили в школу со звездами на груди и саблями у ноги. Писали они на золотых досках алмазными грифелями и наузуть умели читать не хуже, чем по книжке. Сразу было видно, что они настоящие принцы. А их сестрица Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было отдано полкоролевства.

Да, хорошо жилось детям, только недолго.

Отец их, король той страны, женился на злой королеве, и она с самого начала невзлюбила бедных детей. Они испытали это в первый же день. Во дворце шел пир, и дети затеяли игру в гости. Но вместо пирожных и печеных яблок, которые они всегда получали вдоволь, мачеха дала им чайную чашку речного песка — пусть представят себе, что это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу в деревню крестьянам на воспитание, а прошло еще немного времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.

— Летите на все четыре стороны и заботьтесь о себе сами! — сказала злая королева. — Летите большими птицами без голоса! Но не случилось так, как она хотела; они превратились в один-

надцать прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из окон дворца и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо дома, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись кружить над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто их не слышал, не видел. Так и пришлось им улететь ни с чем. Взвились они под самые облака и полетели в большой темный лес у берега моря.

А бедняжка Элиза осталась жить в крестьянском доме и играла зеленым листком — других игрушек у нее не было. Она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнце и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. А когда теплый луч солнца падал ей на щеку, она вспоминала их нежные поцелуи.

Дни шли за днями, один как другой. Порой ветер колыхал розовые кусты, росшие возле дома, и нашептывал розам:

— Есть ли кто красивее вас?

Розы качали головками и отвечали:

— Элиза.

И это была сушая правда.

Но вот минуло Элизе пятнадцать лет, и ее отослали домой. Увидела королева, какая она хорошенькая, разгневалась и еще больше возненавидела ее. И хотелось бы мачехе превратить Элизу в дикого лебедя, как ее братьев, да не посмела она сделать это сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь.

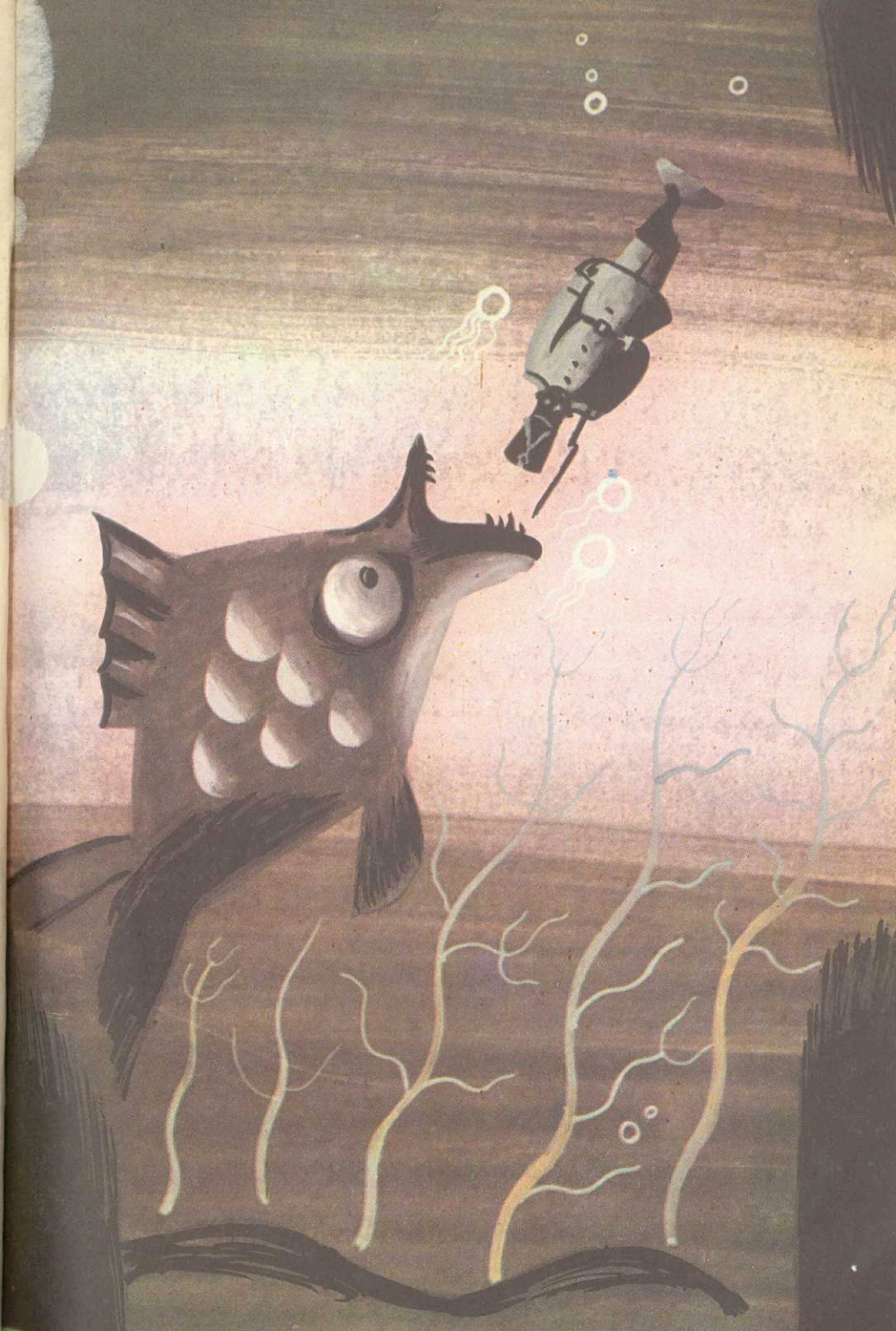
И вот с утра пораньше пошла королева в мраморную купальню, убранную мягкими подушками и чудесными коврами, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой:

— Как войдет Элиза в купальню, сядь ей на голову, пусть она станет такой же ленивой, как ты. А ты сядь Элизе на лоб, — сказала она другой. — Пусть она станет такой же безобразной, как ты, чтобы и отец ее не узнал. — Ну а ты ляг Элизе на сердце, — сказала она третьей. — Пусть она станет злой и мучается от этого!

Пустила королева жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же позеленела. Позвала королева Элизу, раздела и велела ей войти в воду. Послушалась Элиза, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, третья на грудь, но Элиза даже не заметила этого, а как только вышла из воды, по воде поплыли три алых мака. А были бы жабы не ядовиты и не целованы ведьмой, превратились бы они в алые розы. Так невинна была Элиза, что колдовство оказалось против нее бессильным.

Увидела это злая королева, натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем черной, вымазала ей лицо вонючей мазью, разлохматила волосы. Совсем теперь было не узнать хорошенькую Элизу.

Увидел ее отец, испугался и сказал, что не его это дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек, только кто же станет слушать бедных тварей!





Заплакала бедняжка Элиза и подумала о своих выгнанных братьях. Печальная, ушла она из дворца и целый день брела по полям и болотам к большому лесу. Куда ей идти, она и сама толком не знала, но так тяжело было у нее на сердце и так стосковалась она по своим братьям, что решила искать их, пока не найдет.

Не долго шла она по лесу, как уж ночь настала. Совсем сбилась с пути Элиза, прилегла на мягкий мох и склонила голову на пень. Тихо было в лесу, воздух был такой теплый, вокруг зелеными огоньками мерцали сотни светлячков, и когда она тихонько тронула ветку, они посыпались на нее звездным дождем.

Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали алмазными грифелями на золотых досках и рассматривали чудесную книжку с картинками, за которую было отдано полкоролевства. Но писали они на досках не черточки и нолики, как прежде, нет, они описывали все, что видели и пережили. Все картинки в книжке ожили, птицы пели, а люди сходили со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями, но когда она переворачивала страницу, они впрыгивали обратно, чтоб не получалось путаницы в картинках.

Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко. Она не могла хорошо видеть его за густой листвой деревьев, но лучи его реяли в вышине, словно колеблющаяся золотая кисея. Пахло травой, а птицы чуть не садились Элизе на плечи. Слышался плеск воды — поблизости бежало несколько больших ручьев, вливавшихся в пруд с чудесным песчаным дном. Пруд был окружен густыми кустами, но в одном месте дикие олени проделали большой проход, и Элиза могла спуститься к воде, такой прозрачной, что, если бы ветер не колыхал ветви деревьев и кустов, можно было бы подумать, что они нарисованы на дне, так ясно отражался в воде каждый листочек, и освещенный солнцем, и укрытый в тени.

Увидела в воде свое лицо Элиза и совсем перепугалась — такое оно было черное и гадкое. Но вот она зачерпнула горсть воды, обмыла лоб и глаза, и опять заблестела ее белая и нежная кожа. Тогда Элиза разделась и вошла в прохладную воду. Краше принцессе поискать было по всему свету!

Оделась Элиза, заплела в косы свои длинные волосы и пошла к роднику, напилась из пригоршни и побрела дальше в лес, сама не зная куда. По пути ей попала дикая яблоня, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Поела Элиза яблочек, подперла ветви колышками и углубилась в самую чашу леса. Тишина стояла такая, что Элиза слышала собственные шаги и шуршание каждого сухого листка, на который ступала. Здесь не было видно ни одной птицы, ни один солнечный луч не пробивался сквозь сплошное сплетение ветвей. Высокие деревья стояли так плотно, что, когда она смотрела перед собой, казалось ей, что ее окружают бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой.

Ночью стало еще темнее, ни единого светлячка не светилось во мху. Печальная, улеглась Элиза на траву, а рано утром оправилась дальше. Тут встретила ее старушка с корзинкой ягод. Старушка дала Элизе горстку ягод, а Элиза спросила, не проезжали ли тут по лесу одиннадцать принцев.

— Нет, — отвечала старушка. — Но вот одиннадцать лебедей в коронах видела, они плавали на реке тут неподалеку.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала речка. Деревья, росшие по ее берегам, тянули друг к другу длинные, покрытые густой листвою ветви, и там, где они не могли дотянуться друг до друга, их корни выпирали из земли, и, сплетаясь с ветвями, свисали над водой.

Элиза простилась со старушкой и пошла вдоль речки к тому месту, где речка впадала в большое море.

И вот перед девушкой открылось чудесное море. Но ни единого паруса не виднелось на нем, ни единой лодки. Как же ей было продолжать свой путь? Весь берег был усыпан бесчетными камешками, вода обкатала их, и они были совсем круглые. Стекло, железо, камни — все, что выбросило волнами на берег, получило свою форму от воды, а ведь вода была куда мягче нежных рук Элизы.

«Волны неумоимо катятся одна за другой и сглаживают все твердое, буду и я неумоимой! Спасибо вам за науку, светлые, быстрые волны! Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем водорослях лежало одиннадцать белых лебединых перьев, и Элиза собрала их в пучок. На них блестяли капли — росы или слез, кто знает? Пустынно было на берегу, но Элиза не замечала этого: море вечно менялось, и за несколько часов тут можно было увидеть больше, чем за целый год на пресноводных озерах на суше. Вот надвигается большая черная туча, и море как будто говорит: «Я тоже могу выглядеть мрачным», — и налетает ветер, и волны показывают своей белой изнанкой. А вот облака отсвечивают розовым, ветер спит, и море похоже на лепесток розы. Иной раз оно зеленое, иной раз белое, но как бы спокойно оно ни было, у берега оно постоянно в тихом движении. Вода легонько вздымается, словно грудь спящего ребенка.

На закате увидела Элиза одиннадцать диких лебедей в золотых коронах. Они летели к суше, следуя один за другим, и похоже было, что в небе колышется длинная белая лента. Элиза взобралась на верх береговой кручи и спряталась за куст. Лебеди спустились неподалеку и хлопнули своими большими белыми крыльями.

И вот как только солнце село в море, сбросили лебеди перья и превратились в одиннадцать прекрасных принцев — братьев Элизы. Громко вскрикнула Элиза, сразу узнала их, сердцем почувывая, что это они, хотя братья сильно изменились. Она бросилась к ним в объятия, называла их по именам, и как же они обрадовались, увидав свою сестрицу, которая так выросла и по-

хорошела! И смеялись и плакали Элиза и ее братья и скоро узнали друг от друга, как жестоко обошлась с ними мачеха.

— Мы, — сказал самый старший из братьев, — летаем дикими лебедями, пока солнце стоит на небе. А когда оно заходит, опять принимаем человеческий облик. Вот почему к заходу солнца мы всегда должны быть на суше. Случись нам превратиться в людей, когда мы летим под облаками, мы упадем в пучину. Живем мы не здесь. За морем лежит такая же чудесная страна, как эта, но путь туда далек, приходится лететь через все море, а по пути нет ни единого острова, где можно было бы переночевать. Только на самой середине из моря торчит одинокий утес, и мы можем отдохнуть на нем, тесно прижавшись друг к дружке, вот какой он маленький. Когда море волнуется, брызги так и летят прямо через нас, но мы рады и такому пристанищу. Там ночуем мы в нашем человеческом обличье. Не будь утеса, нам бы и вовсе не видать нашей милой родины: два самых длинных дня в году нам надо для этого перелета, и только раз в году дозволено нам прилетать на родину. Мы можем жить здесь одиннадцать дней и летать над этим большим лесом, смотреть на дворец, где мы родились и где живет наш отец. Тут нам знаком каждый куст, каждое дерево, тут, как в дни нашего детства, бегают по равнинам дикие лошади, а угольщики поют те же песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда стремимся мы всей душой, и здесь-то мы и нашли тебя, дорогая наша сестрица! Два дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны лететь за море в чудесную, но не родную нам страну. Как же нам взять тебя с собою? У нас нет ни корабля, ни лодки!

— Ах, если б я могла снять с вас заклятье! — сказала сестра.

Так проговорили они всю ночь и задремали лишь на несколько часов.

Проснувшись Элиза от шума лебединых крыльев. Братья вновь обратились в птиц, они кружили над ней, а потом скрылись из виду. Только один из лебедей, самый младший, остался с ней. Он положил голову ей на колени, и она гладила его белые крылья. Весь день провели они вместе, а к вечеру прилетели остальные, и, когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.

— Завтра мы должны улететь и сможем вернуться не раньше чем через год. Хватит у тебя мужества лететь с нами? Я один могу пронести тебя на руках через весь лес, так неужто мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море?

— Да, возьмите меня с собой! — сказала Элиза.

...Всю ночь плели они сетку из гибкой ивовой коры и тростника. Большая и прочная вышла сетка. Элиза легла в нее, и чуть взошло солнце, братья обратились в лебедей, подхватили сетку клювами и взвились с милой, еще спавшей сестрицей под облака. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, и один лебедь летел над ее головой, прикрывая ее от солнца своими широкими крыльями.

Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву, так странно было лететь по воздуху. Рядом с ней лежала ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев. Их набрал самый младший из братьев, и Элиза улыбнулась ему — она догадалась, что это он летит над ней и прикрывает ее от солнца своими крыльями.

Высоко-высоко летели лебеди, так что первый корабль, который они увидели, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако — настоящая гора! — и на нем Элиза увидела гигантские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Никогда раньше не видела она такого величественного зрелища. Но все выше поднималось солнце, все дальше позади оставалось облако, и мало-помалу движущиеся тени исчезли.

Целый день летели лебеди, словно пущенная из лука стрела, но все же медленнее обычного, ведь на этот раз им приходилось нести сестру. Близился вечер, собиралась буря. Со страхом следила Элиза за тем, как заходит солнце, — одинокого морского утеса все еще не было видно. И еще ей казалось, что лебеди машут крыльями как будто бы через силу. Ах, это она виновата, что они не могут лететь быстрее! Вот зайдет солнце, и они обратятся в людей, упадут в море и утонут...

Черная туча надвигалась все ближе, сильные порывы ветра предвещали бурю. Облака собрались в грозный свинцовый вал, катившийся по небу. Молнии сверкали одна за другой.

Солнце уже коснулось воды, сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг начали снижаться, да так стремительно, что Элизе показалось, будто они падают. Но нет, они продолжали лететь. Вот солнце наполовину скрылось под водой, и тут только Элиза увидела под собою утес не больше головы тюленя, высунувшегося из воды. Солнце быстро погружалось в море и казалось теперь не больше звезды. Но вот лебеди ступили на камень, и солнце погасло, словно последняя искра догорающей бумаги. Братья стояли рука об руку вокруг Элизы, и все они едва уместались на утесе. Волны с силой ударяли в него и обдавали их брызгами. Небо не переставая озарялось молниями, каждую минуту гремел гром, но сестра и братья, взявшись за руки, находили друг в друге мужество и утешение.

На рассвете опять стало ясно и тихо. Как только взошло солнце, лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и с высоты было видно, как плывет по темно-зеленой воде, точно несметные голубиные стаи, белая пена.

Но вот солнце поднялось выше, и Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе горную страну с глыбами сверкающего льда на скалах, а прямо посередине высился замок, растянувшийся, наверное, на целую милю, с какими-то удивительными галереями одна над другой. Внизу под ним колыхались пальмовые рощи и роскошные цветы величиной с мельничные колеса. Элиза спросила, не та ли это страна, куда они держат путь, но

лебеди только покачали головами: это был всего лишь чудесный, вечно меняющий очертания облачный замок Фата-Морганы.

Элиза все смотрела и смотрела на него, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе и образовали двадцать величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви совсем было приблизились, как вдруг превратились в целую флотилию кораблей. Элиза взгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, поднимающийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся образы и картины!

Но вот показалась и суша, к которой они держали путь. Там высились чудесные горы с кедровыми лесами, городами и замками. И уже задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пещерой, словно обвешанной расшитыми зелеными коврами, так обросла она нежно-зелеными вьющимися растениями.

— Посмотрим, что приснится тебе тут ночью! — молвил младший из братьев и указал сестре ее спальню.

— Ах, если бы мне открылось во сне, как снять с вас заклятье! — отвечала она, и эта мысль не выходила у нее из головы.

И вот пригрезилось ей, будто она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы и фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на старушку, которая дала Элизе ягод в лесу и рассказала о лебедях и золотых коронах.

«Твоих братьев можно спасти, — сказала она. — Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих рук и все-таки окатывает камни, но она не чувствует боли, которую будут чувствовать твои пальцы. У воды нет сердца, которое стало бы изнывать от муки и страха, как твое. Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та, что растет на кладбищах, может помочь тебе. Заметь же ее! Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов. Потом разомнешь ее ногами, получится волокно. Из него ты сплетишь одиннадцать рубашек-панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда колдовство развеется. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь работу, и до тех пор, пока не окончишь, пусть даже она растянется на годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, как смертоносный кинжал пронзит сердца твоих братьев. Их жизнь и смерть будут в твоих руках. Запомни все это!»

И фея коснулась ее руки крапивой. Элиза почувствовала боль от ожога, и проснулась. Уже рассвело, и рядом с нею лежала крапива, точь-в-точь как та, что она видела во сне. Элиза вышла из пещеры и принялась за работу.

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались волдырями, но она с радостью терпела

боль — только бы спасти милых братьев! Босыми ногами она разминала крапиву и пряла зеленые нити.

Но вот зашло солнце, вернулись братья, и как же они испугались, увидя, что сестра их стала немой! Это не иначе, как новое колдовство злой мачехи, решили они. Но взглянули братья на ее руки и поняли, что она задумала ради их спасения. Заплакал младший из братьев, и там, куда падали его слезы, боль утихала, жгучие волдыри исчезали.

Всю ночь провела за работой Элиза, ведь не было ей покоя, пока не освободит она милых братьев. И весь следующий день, пока лебеди были в отлучке, просидела она одна-одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее так быстро.

Одна рубашка-панцирь была готова, и она принялась за другую, как вдруг в горах затрубили охотничьи рога. Испугалась Элиза. А звуки все приближались, раздался лай собак. Убежала в пещеру Элиза, связала в пучок собранную ею крапиву и села на него.

Тут из-за кустов выскочила большая собака, за ней другая, третья. Собаки громко лаяли и бегали взад и вперед у входа в пещеру. Не прошло и нескольких минут, как у пещеры собрались все охотники. Самый красивый среди них был король той страны. Он подошел к Элизе — никогда еще не встречал он такой красавицы.

— Как ты попала сюда, прекрасное дитя? — спросил он, но Элиза только головой покачала в ответ, ведь говорить-то ей нельзя было, от этого зависела жизнь и спасение братьев.

Руки свои она спрятала под передник, чтобы король не увидел, какие муки приходится ей терпеть.

— Пойдем со мной! — сказал он. — Здесь тебе не место! Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце!

И он посадил ее на своего коня. Плакала и ломала руки Элиза, но король сказал:

— Я хочу только твоего счастья! Когда-нибудь ты будешь благодарна мне за это!

И он повез ее через горы, а охотники скакали следом.

К вечеру оказалась великолепная столица короля, с храмами и куполами, и привел король Элизу в свой дворец. В высоких мраморных залах там журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами. Но ни на что не смотрела Элиза, а только плакала и тосковала. Как неживая позволила она прислужницам надеть на себя королевские одежды, вплести в волосы жемчуга и натянуть на обожженные пальцы тонкие перчатки.

Ослепительно прекрасная стояла она в роскошном убранстве, и весь двор низко ей поклонился, а король провозгласил ее своею невестой, хотя архиепископ покачивал головой и нашептывал

королю, что эта лесная красавица, должно быть, ведьма, что она отвела всем глаза и околдовала короля.

Но король не стал его слушать, сделал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать дорогие кушанья, а сам повел Элизу через благоухающие сады и роскошные палаты. Но не было улыбки ни на губах, ни в глазах ее, а только печаль, словно было ей так на роду написано. Но вот открыл король дверь в маленькую комнатку рядом с ее спальней. Комнатка была увешана дорогими зелеными коврами и напояла пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элизой рубашка-панцирь. Все это как диковинку захватил с собой из лесу один из охотников.

— Здесь ты можешь вспоминать свое прежнее жилище! — сказал король. — Здесь и работа, которой ты занималась. Может быть, теперь, в славе твоей, воспоминания о прошлом развлекут тебя.

Увидела Элиза дорогую ее сердцу работу, и улыбка заиграла на ее губах, кровь прилила к щекам. Она подумала о спасении братьев и поцеловала королю руку, а он прижал ее к сердцу.

Архиепископ по-прежнему нашептывал королю злые речи, но они не доходили до сердца короля. На другой день сыграли свадьбу. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону. С досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно. Но другой, более тяжелый обруч сдавливал ей сердце — печаль за ее братьев, и она не заметила боли. Уста ее были по-прежнему замкнуты — одно-единственное слово могло стоить братьям жизни, — но в глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему больше и больше. Ах, если б только можно было довериться ему, поведать ему свою муку! Но она должна была молчать, должна была делать свое дело молча. Вот почему по ночам она тихонько уходила из королевской опочивальни в свою потайную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку-панцирь за другой. Но когда она принялась за седьмую, у нее кончилось волокно.

Найти нужную ей крапиву, знала она, можно на кладбище, но она сама должна была рвать ее. Как же быть?

«Ах, что значит боль в пальцах по сравнению с мукой моего сердца? — думала Элиза. — Я должна решиться!»

Сердце ее сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели безобразные ведьмы и тарасились на нее злыми глазами, но она набрала крапивы и вернулась обратно во дворец.

Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее — архиепископ. Только получалось, что он был прав, подозревая, что с

королевой дело нечисто. И впрямь выходило, что она ведьма, потому-то и сумела околдовать короля и весь народ.

Утром он рассказал королю о том, что видел и что подозревал. Две тяжелые слезы скатились по щекам короля, и сомнение закралось в его сердце. Ночью он притворился, будто спит, но сон не шел к нему, и заметил король, как Элиза встала и скрылась из опочивальни. И так повторялось каждую ночь, и каждую ночь он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потайной комнате.

День ото дня все мрачнел и мрачнел король. Элиза видела это, но не понимала почему, и боязно ей было, и сердце ее болело за братьев. На королевский бархат и пурпур катились ее горькие слезы. Они блстели, как алмазы, и люди, видевшие ее в великолепном одеянии, желали быть на ее месте.

Но скоро, скоро конец работе! Недоставало всего лишь одной рубашки, и тут у нее опять кончилось волокно. Еще раз — последний — нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Со страхом думала она о безлюдном кладбище и ужасных ведьмах, но решимость ее была непоколебима.

И Элиза пошла, но король с архиепископом пошли за ней следом. Увидели они, как она скрылась за кладбищенскими воротами, а когда подошли к воротам, и увидели ведьм на могильных плитах, король повернул назад.

— Пусть судит ее народ! — сказал он.

И народ присудил — сжечь ее на костре.

Из роскошных королевских палат Элизу отвели в мрачное сырое подземелье с решеткой на окне, в которое со свистом задувал ветер. Вместо бархата и шелка ей дали под голову связку набранной ею на кладбище крапивы, а жесткие, жгучие рубашки-панцири должны были служить ей ложем и одеялом. Но лучшего подарка ей и не надо было, и она вновь принялась за работу. Уличные мальчишки пели ей за окном глумливые песни, и ни одна живая душа не нашла для нее слова утешения.

Но под вечер у решетки раздался шум лебединых крыльев — это отыскал сестру младший из братьев, и она заплакала от радости, хотя и знала, что жить ей осталось, быть может, всего одну ночь. Зато работа ее была почти закончена и братья были тут!

Всю ночь плела Элиза последнюю рубашку. Чтобы хоть немножко помочь ей, мыши, бегавшие по подземелью, приносили к ее ногам стебли крапивы, а у решетки окна сел дрозд и всю ночь подбодрял ее своей вселой песней.

Еще только начинался рассвет, и солнце должно было показаться лишь через час, а к воротам дворца уже явились одиннадцать братьев и потребовали, чтобы их пропустили к королю. Им отвечали, что это никак невозможно: король спит и его нельзя будить. Братья продолжали просить, потом стали угрожать, явилась стража, а потом вышел и сам король узнать, в чем дело. Но тут взойшло солнце, и братья исчезли, а над дворцом взлетели одиннадцать лебедей.

Народ валом валил за город, смотреть, как будут сжигать ведьму. Жалкая кляча тащила повозку, в которой сидела Элиза. На нее накинули балахон из грубой мешковины. Ее чудные, дивные волосы спадали на плечи, в лице не было ни кровинки, губы беззвучно шевелились, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук свою работу. У ее ног лежали десять рубашек-панцирей, одиннадцатую она плела. Толпа глумилась над нею.

— Посмотрите на ведьму! Ишь, шамкает губами да все никак, не расстанется со своими колдовскими штуками! Вырвать их у нее да порвать в клочья!

И толпа бросилась к ней и хотела разорвать крапивные рубашки, как вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели вокруг нее по краям повозки и захлопали могучими крыльями. Толпа отхлынула.

— Это знамение небесное! Она невинна! — шептали многие, но сказать это вслух не решались.

Вот палач уже схватил Элизу за руку, но она быстро набросила на лебедей крапивные рубашки, и все они превратились в прекрасных принцев, только у самого младшего вместо одной руки так и осталось крыло: не успела Элиза закончить последнюю рубашку, недоставало в ней одного рукава.

— Теперь я могу говорить! — сказала она. — Я невинна!

И народ, видевший все, преклонился перед ней, а она без чувств упала в объятия братьев, так измучена была она страхом и болью.

— Да, она невинна! — молвил старший из братьев и рассказал все, как было, и пока он говорил, в воздухе разлился аромат, как от миллиона роз, — это каждое полено в костре пустило корни и ветви, и вот уже на месте костра стоял благоухающий куст, весь в алых розах. А на самом верху сиял, словно звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его и положил Элизе на грудь, и она очнулась, и в сердце ее были покой и счастье.

Тут сами собой зазвонили в городе все колокола, и слетелись несметными стаями птицы, и к дворцу потянулось такое радостное шествие, какого еще не видывал ни один король!



алеко в море вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло, только очень глубока, так глубока, что никакого якорного каната не хватит. Много колоколен надо поставить одну на другую, тогда только верхняя выйдет на поверхность. Там на дне живет подводный народ.

Только не подумайте, что дно голое, один только белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, словно живые, от малейшего движения воды. А между ветвями снуют рыбы, большие и маленькие, совсем как птицы в воздухе у нас наверху. В самом глубоком месте стоит дворец морского царя — стены его из кораллов, высокие стрельчатые окна из самого чистого янтаря, а крыша сплошь раковины; они то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив, и это очень красиво, ведь в каждой лежат сияющие жемчужины и любая была бы великим украшением в короне самой королевы.

Царь морской давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать, женщина умная, только больно уж гордившаяся своей родовитостью: на хвосте она носила целых двенадцать устриц, тогда как прочим вельможам полагалось только шесть. В остальном же она заслуживала всяческой похвалы, особенно потому, что души не чаяла в своих маленьких внуках-принцессах. Их было шестеро, все прехорошенькие, но милее

всех самая младшая, с кожей чистой и нежной, как лепесток розы, с глазами синими и глубокими, как море. Только у нее, как, впрочем, и у остальных, ног не было, а вместо них был хвост, как у рыб.

День-деньской играли принцессы во дворце, в просторных палатках, где из стен росли живые цветы. Раскрывались большие янтарные окна, и внутрь врывались рыбы, совсем как у нас ласточки влетают в дом, когда окна стоят настежь, только рыбы подплывали прямо к маленьким принцессам, брали из их рук еду и позволяли себя гладить.

Перед дворцом был большой сад, в нем росли огненно-красные и темно-синие деревья, и плоды их сверкали золотом, цветы — горячим огнем, а стебли и листья непрерывно колыхались. Земля была сплошь мелкий песок, только голубоватый, как серное пламя. Все там внизу отдавало в какую-то особенную синеву, — в пору было подумать, будто стоишь не на дне морском, а в воздушной вышине, и небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна видно было солнце, оно казалось пурпурным цветком, из чаши которого льется свет.

У каждой принцессы было в саду свое местечко, здесь они могли копать и сажать что угодно. Одна устроила себе цветочную грядку в виде кита, другой вздумалось, чтобы ее грядка гляделась русалкой, а самая младшая сделала себе грядку, круглую, как солнце, и цветы на ней сажала такие же алые, как оно само. Странное дитя была эта русалочка, тихое, задумчивое. Другие сестры украшали себя разными разностями, которые находили на потонувших кораблях, а она только и любила, что цветы ярко-красные, как солнце, там, наверху, да еще красивую мраморную статую. Это был прекрасный мальчик, высеченный из чистого белого камня и спустившийся на дно морское после кораблекрушения. Возле статуи русалочка посадила розовую плакучую иву, она пышно разрослась и свешивала свои ветви над статуей к голубому песчаному дну, где получалась фиолетовая тень, зыблущаяся в лад колыханию ветвей, и от этого казалось, будто верхушка и корни лапятся друг к другу.

Больше всего русалочка любила слушать рассказы о мире людей там, наверху. Старой бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и животных. Особенно чудесным и удивительным казалось русалочке, то, что цветы на земле пахнут, — не то что здесь, на морском дне, — леса там зеленые, а рыбы среди ветвей поют так громко и красиво, что просто заслушаешься. Рыбами бабушка называла птиц, иначе внуки не поняли бы ее: они ведь сроду не видели птиц.

— Когда вам исполнится пятнадцать лет, — говорила бабушка, — вам позволят всплывать на поверхность, сидеть в лунном свете на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз исполнилось пятнадцать лет, но сестры были погодки, и выходило так, что только

через пять лет самая младшая сможет подняться со дна морского и увидеть, как живет нам здесь, наверху. Но каждая обещала рассказать остальным, что она увидела и что ей больше всего понравилось в первый день, — рассказов бабушки им было мало, хотелось знать побольше.

Ни одну из сестер не тянуло так на поверхность, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Ночь за ночью проводила она у открытого окна и все смотрела вверх сквозь темно-синюю воду, в которой плескали хвостами и плавниками рыбы. Месяц и звезды виделись ей, и хоть светили они совсем бледно, зато казались сквозь воду много больше, чем нам. А если под ними скользило как бы темное облако, знала она, что это либо кит проплывает, либо корабль, а на нем много людей, и, уж конечно, им и в голову не приходило, что внизу под ними хорошенькая русалочка тянется к кораблю своими белыми руками.

И вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность.

Сколько было рассказов, когда она вернулась назад! Ну, а лучше всего, рассказывала она, было лежать в лунном свете на отмели, когда море спокойно, и рассматривать большой город на берегу: точно сотни звезд, там мерцали огни, слышалась музыка, шум экипажей, говор людей, виднелись колокольни и шпили, звонили колокола. И как раз потому, что туда ей было нельзя, туда и тянуло ее больше всего.

Как жадно внимала ее рассказам самая младшая сестра! А потом, вечером, стояла у открытого окна и смотрела вверх сквозь темно-синюю воду и думала о большом городе, шумном и оживленном, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов.

Через год и второй сестре позволили подняться на поверхность и плыть куда угодно. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и решила, что прекраснее зрелища нет на свете. Небо было сплошь золотое, сказала она, а облака — ах, у нее просто нет слов описать, как они красивы! Красные и фиолетовые, плыли они по небу, но еще быстрее неслась к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая диких лебедей. Она тоже поплыла к солнцу, но оно погрузилось в воду, и розовый отсвет на море и облаках погас.

Еще через год поднялась на поверхность третья сестра. Эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Она увидела там зеленые холмы с виноградниками, а из чащи чудесного леса выглядывали дворцы и усадьбы. Она слышала, как поют птицы, а солнце пригревало так сильно, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы остудить свое пылающее лицо. В бухте ей попалась целая стая маленьких чelовеческих детей, они бегали нагишом и плескались в воде. Ей захотелось поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них явился какой-то черный зверек — это была собака, только

ведь ей еще ни разу не доводилось видеть собаку — и залаял на нее так страшно, что она перепугалась и уплыла назад в море. Но никогда не забыть ей чудесного леса, зеленых холмов и престелных детей, которые умеют плавать, хоть и нет у них рыбьего хвоста.

Четвертая сестра не была такой смелой, она держалась в открытом море и считала, что там-то и было лучше всего: море видно вокруг на много-много миль, небо над головой как огромный стеклянный купол. Видела она и корабли, только совсем издалека, и выглядели они совсем как чайки, а еще в море кувыркались резвые дельфины и киты пускали из ноздрей воду, так что казалось, будто вокруг были сотни фонтанов.

Дошла очередь и до пятой сестры. Ее день рождения был зимой, и поэтому она увидела то, чего не удалось увидеть другим. Море было совсем зеленое, рассказывала она, повсюду плавали огромные ледяные горы, каждая ни дать ни взять жемчужина, только куда выше любой колокольни, построенной людьми. Они были самого причудливого вида и сверкали, словно алмазы. Она уселась на самую большую из них, ветер развеивал ее длинные волосы, и моряки испуганно обходили это место подальше. К вечеру небо заволокло тучами, засверкали молнии, загремел гром, почерневшее море вздымало ввысь огромные ледяные глыбы, озаряемые вспышками молний. На кораблях убирали паруса, вокруг был страх и ужас, а она как ни в чем не бывало плыла на своей ледяной горе и смотрела, как молнии синими зигзагами ударяют в море.

Так вот и шло: выплывает какая-нибудь из сестер первый раз на поверхность, восхищается всем новым и красивым, ну, а потом, когда взрослой девушкой может подниматься вверх в любую минуту, все становится ей неинтересным и она стремится домой и уже месяц спустя говорит, что у них внизу лучше всего, только здесь и чувствуешь себя дома.

Часто по вечерам, обнявшись, всплывали пять сестер на поверхность. У всех были дивные голоса, как ни у кого из людей, и когда собиралась буря, грозившая гибелью кораблям, они плыли перед кораблями и пели так сладко о том, как хорошо на морском дне, уговаривали моряков без боязни спуститься вниз. Только моряки не могли разобрать слов, им казалось, что это просто шумит буря, да и не довелось бы им видеть на дне никаких чудес — когда корабль тонул, люди захлебывались и попадали во дворец морского царя уже мертвыми.

Младшая же русалочка, когда сестры ее всплывали вот так на поверхность, оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, и ей впору было заплакать, да только русалкам не дано слез, и от этого ей было еще горше.

— Ах, когда же мне будет пятнадцать лет! — говорила она. — Я знаю, что очень полюблю тот мир и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.

— Ну вот, вырастили и тебя! — сказала бабушка, вдовствующая

щая королева. — Поди-ка сюда, я украшу тебя, как остальных сестер!

И она надела русалочке на голову венок из белых лилий, только каждый лепесток был половинкой жемчужины, а потом нацепила ей на хвост восемь устриц в знак ее высокого сана.

— Да это больно! — сказала русалочка.

— Чтоб быть красивой, можно и потерпеть! — сказала бабушка.

Ах, как охотно скинула бы русалочка все это великолепие и тяжелый венок! Красные цветы с ее грядки пошли бы ей куда больше, но ничего не поделаешь.

— Прощайте! — сказала она и легко и плавно, словно пузырек воздуха, поднялась на поверхность.

Когда она подняла голову над водой, солнце только что село, но облака еще отсвечивали розовым и золотым, а в бледно-красном небе уже зажглись ясные вечерние звезды; воздух был мягкий и свежий, море спокойно. Неподалеку стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом — не было ни малейшего ветерка. Повсюду на снастях и реях сидели матросы. С палубы раздавалась музыка и пение, а когда совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков и в воздухе словно бы замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла прямо к окну каюты, и всякий раз, как ее приподымало волной, она могла заглянуть внутрь сквозь прозрачные стекла. Там было множество нарядно одетых людей, но красивее всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет. Праздновался его день рождения, оттого-то на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, в небо взмыли сотни ракет, и стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но тут же опять высунула голову, и казалось, будто все звезды с неба падают к ней в море. Никогда еще не видала она такого фейерверка. Вертелись колесом огромные солнца, взлетали в синюю высь чудесные огненные рыбы, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждый канат, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал всем руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в чудной ночи.

Уже поздно было, а русалочка все не могла глаз оторвать от корабля и от прекрасного принца. Погасли разноцветные фонарики, не взлетали больше ракеты, не гремели пушки, зато загудело и заворчал в глуби морской. Русалочка качалась на волнах и все заглядывала в каюту, а корабль стал набирать ход, один за другим распускались паруса, все выше вздымались волны, собирались тучи, вдали засверкали молнии.

Надвигалась буря, матросы принялись убирать паруса. Корабль, раскачиваясь, летел по разбушевавшемуся морю, волны вздымались огромными черными горами, норовя перекатиться

через мачту, а корабль нырял, словно лебедь, между высоченными валами и вновь возносился на гребень громаздящейся волны. Русалочке все это казалось приятной прогулкой, но не матросам. Корабль стонал и трещал; вот подалась под ударами волн толстая обшивка бортов, волны захлестнули корабль, переломилась пополам, как тростинка, мачта, корабль лег на бок, и вода хлынула в трюм. Тут уж русалочка поняла, какая опасность угрожает людям, — ей и самой приходилось увертываться от бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту стало темно, хоть глаз выколи, но вот блеснула молния, и русалочка опять увидела людей на корабле. Каждый спасался, как мог. Она искала глазами принца, и увидела, как он упал в воду, когда корабль развалился на части. Сперва она очень обрадовалась — ведь он попадет теперь к ней на дно, но тут же вспомнила, что люди не могут жить в воде и он приплывет во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть! И она поплыла между бревнами и досками, совсем не думая о том, что они могут ее раздавить. Она то ныряла глубоко, то взлетала на волну и наконец доплыла до юного принца. Он почти уже совсем выбился из сил и плыть по бурному морю не мог. Руки и ноги отказывались ему служить, прекрасные глаза закрылись, и он утонул бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно...

К утру буря стихла. От корабля не осталось и щепки. Опять засверкало над водой солнце и как будто вернуло краски щекам принца, но глаза его все еще были закрыты.

Русалочка откинула со лба принца волосы, поцеловала его в высокий красивый лоб, и ей показалось, что он похож на мраморного мальчика, который стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она завидела сушу, высокие синие горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого берега зеленели чудесные леса, а перед ними стояла не то церковь, не то монастырь — она не могла сказать точно, знала только, что это было здание. В саду росли апельсинные и лимонные деревья, а у самых ворот высокие пальмы. Море вдавалось здесь в берег небольшим заливом, тихим, но очень глубоким, с утесом, у которого море намыло мелкий белый песок. Сюда-то и приплыла русалочка с принцем и положила его на песок так, чтобы голова его была повыше на солнце.

Тут в высоком белом здании зазвонили колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, торчавшие из воды, покрыла свои волосы и грудь морской пеной, так что теперь никто не различил бы ее лица, и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Вскоре к утесу подошла молодая девушка и поначалу очень испугалась, но тут же собралась с духом и позвала других людей,

и русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой.

Теперь она стала еще тише, еще задумчивее, чем прежде. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала.

Часто по утрам и вечерам приплывала она к тому месту, где оставила принца. Она видела, как созревали в саду плоды, как их потом собирали, видела, как стаял снег на высоких горах, но принца так больше и не видала и возвращалась домой каждый раз все печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвив руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за своими цветами она больше не ухаживала. Они одичали и разрослись по дорожкам, переплелись стеблями и листьями с ветвями деревьев, и в садике стало совсем темно.

Наконец, она не выдержала и рассказала обо всем одной из сестер. За ней узнали и остальные сестры, но больше никто, разве что еще две-три русалки да их самые близкие подруги. Одна из них тоже знала о принце, видела празднество на корабле и даже знала, откуда принц родом и где его королевство.

— Поплыли вместе, сестрица! — сказали русалочке сестры и, обнявшись, поднялись на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо к морю. Великолепные позолоченные купола высились над крышей, а между колоннами окружавшими здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавески, были разостланы ковры, а стены украшали большие картины. Загляденье, да и только! Посреди самой большой залы журчал фонтан; струи воды били высоко-высоко под стеклянный купол потолка, через который воду и диковинные растения, росшие по краям бассейна, озаряло солнце.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, ну а она заплывала даже в узкий канал, который проходил как раз под мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на юного принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развевающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иногда замечали, как полощется по ветру ее длинная серебристо-белая вуаль, им казалось что это плещет крыльями лебедь.

Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ло-

вившие по ночам с факелом рыбу, они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его, полумертвого, носило по волнам; она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней, она ему и присниться не могла!

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный; они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы выше облаков, а их страны с лесами и полями раскинулись так широко, что и глазом не охватишь! Очень хотелось русалочке побольше узнать о людях, о их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к бабушке: старуха хорошо знала «высший свет», как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

— Если люди не тонут, — спрашивала русалочка, — тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

— Ну что ты! — отвечала старуха. — Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет; только когда мы перестаем быть, нас не хоронят, у нас даже нет могил, мы просто превращаемся в морскую пену.

— Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, — проговорила русалочка.

— Вздор! Нечего и думать об этом! — сказала старуха. — Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

— Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыку волн, не увижу ни чудесных цветов, ни красного солнца! Неужели я никак не могу пожить среди людей?

— Можешь, — сказала бабушка, — пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дорожке отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами, сделает тебя своей женой и поклянется в вечной верности. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым — твой рыбий хвост, например, — люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки, или ноги, как они их называют.

Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

— Будем жить — не тужить! — сказала старуха. — Повеселимся вволю, триста лет — срок немалый... Сегодня вечером у нас во дворце бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине; огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены — и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи боль-

ших и малых рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром.

Посреди зали вода бежала широким потоком, и в нем танцевали под свое чудное пение водяные и русалки. Таких прекрасных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце, и ей стало грустно. Незаметно выскользнула она из дворца, и, пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху донесли звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами, ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни! На все бы я пошла — только чтобы мне быть с ним. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Еще ни разу не доводилось ей проплывать этой дорогой; тут не росли ни цветы, ни даже трава — кругом был только голый серый песок; вода за ним бурлила и шумела, как под мельничным колесом, и увлекала за собой в пучину все, что только встречала на своем пути. Как раз между такими бурлящими водоворотами и пришлось плыть русалочке, чтобы попасть в тот край, где владычила ведьма. Дальше путь лежал через горячий пузырящийся ил, это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нем росли полипы — полуживотные-полурастения, похожие на стоглавых змей, выставлявших прямо из песка; ветви их были подобно длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелиться от корня до самой верхушки и хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уж больше не выпускали. Русалочка в испуге остановилась, сердечко ее забилось от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце и собралась с духом; крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянулись к ней, своими извивающимися руками. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удалось им схватить: белые скелеты утопивших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие, жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из бе-

лых человеческих костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди.

— Знаю, знаю, зачем ты пришла! — сказала русалочке морская ведьма. — Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе — на твою же беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить, как люди. Хочешь, чтобы юный принц полюбил тебя.

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с нее и шлепнулись на песок.

— Ну ладно, ты пришла в самое время! — продолжала ведьма. — Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидит, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную походку — ни одна танцовщица не сравнится с тобой, но помни: ты будешь ступать как по острым ножам, и твои ноги будут кровоточить. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе.

— Да! — сказала русалочка дрожащим голосом, подумав о принце.

— Помни, — сказала ведьма, — раз ты примешь человеческий облик, тебе уж не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер! А если принц не полюбит тебя, так, что забудет ради тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не сделает тебя своей женой, ты погибнешь; с первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской.

— Пусть! — сказала русалочка и побледнела, как смерть.

— А еще ты должна заплатить мне за помощь, — сказала ведьма. — И я недешево возьму! У тебя чудный голос, им ты и думаешь обворожить принца, но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя; ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал острее, как лезвие меча.

— Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне? — спросила русалочка.

— Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся: высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток!

— Хорошо! — сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

— Чистота — лучшая красота! — сказала она и обтерла котел связкой живых ужей.

Потом она расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, и скоро стали подыматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и, когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов, на вид он казался прозрачайшей ключевой водой.

— Бери! — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток.

Потом отрезала ей язык, и русалочка стала немая — не могла больше ни петь, ни говорить.

— Схватят тебя полипы, когда поплывешь назад, — напутствовала ведьма, — брызни на них каплю питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячу кусочков.

Но русалочке не пришлось этого делать — полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда — ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря.

Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на широкую мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом; она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце, во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял прекрасный принц и с удивлением рассматривал ее. Она потупилась и увидела, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее появились две маленькие беленькие ножки. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные, густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-синими глазами: говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Правду сказала ведьма: каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам; но она терпеливо переносила боль и шла рука об руку с принцем легко, точно по воздуху. Принц и его свита только дивились ее чудной, плавной походке.

Русалочку нарядили в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз к принцу и его царственным родителям позвали девушек-рабынь, раздетых в шелк и золото. Они стали петь, одна из них пела особенно хорошо, и

принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Грустно стало русалочке: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, только чтобы быть возле него!»

Потом девушки стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои белые прекрасные руки, встала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц; он назвал русалочку своим маленьким найденышем, а русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птицы, а зеленые ветви касались ее плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетающих в чужие страны.

А ночью во дворце у принца, когда все спали, русалочка спускалась по мраморной лестнице, ставила пылающие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню; она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидела вдали даже свою старую бабушку, которая уже много лет не подымалась из воды, и самого царя морского с короной на голове, они простирали к ней руки, но не смели подплыть к земле так близко, как сестры.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и принцессой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе, если бы он отдал свое сердце и руку другой, она стала бы пеной морской.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» — казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.

— Да, я люблю тебя! — говорил принц. — У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль затонул, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но только ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и

вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобой!

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! — думала русалочка. — Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роше, возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня! — И русалочка глубоко вздохнула, плакать она не могла. — Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся! Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу; с ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась — она ведь лучше всех знала мысли принца.

— Я должен ехать! — говорил он ей. — Мне надо посмотреть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда не полюблю ее! Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!

И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и любви.

— Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? — говорил он, когда они уже стояли на корабле, который должен был отвезти их в страну соседнего короля.

И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в пучине, и о том, что видели там ныряльщики, а она только улыбалась, слушая его рассказы, — она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны, и ей показалось, что она видит отцовский дворец; старая бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры; они печально смотрели на нее и протягивали к ней свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, а юнга подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань нарядной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили в колокола, с высоких башен раздались звуки рогов; на площадях стояли полки солдат с бле-

стящими штыками и развевающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было — она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она.

Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.

— Это ты! — сказал принц. — Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря.

И он крепко прижал к сердцу свою зардевшуюся невесту.

— Ах, я так счастлив! — сказал он русалочке. — То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня.

Русалочка поцеловала ему руку, а сердце ее, казалось, вот-вот разорвется от боли: его свадьба должна ведь убить ее, превратить в пену морскую.

В тот же вечер принц с молодой женой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, на палубе был раскинут шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками; в шатре они должны были провести эту тихую, прохладную ночь.

Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно заскользил по волнам и понесся в открытое море.

Как только смерклось, на корабле зажглись разноцветные фонарики, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все было в восторге: никогда еще не танцевала она так чудесно! Ее нежные ножки резало как ножами, но этой боли она не чувствовала — сердцу ее было еще больнее. Она знала, что один лишь вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и терпела невыносимые мучения, о которых принц и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой на сердце; принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями; наконец рука об руку они удалились в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, только рулевой остался у руля. Русалочка оперлась о поручни и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развевались больше по ветру — они были обрезаны.

— Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! А она дала нам вот этот нож — видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять сростутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем превратишься в соленую пену морскую. Но спеши! Или он, или ты — один из вас должен умереть до восхода солнца. Убей принца и вернись к нам! Поспешите. Видишь, на небе показалась красная полоска? Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка молодой жены покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены — она одна была у него в мыслях! — и нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута — и она бросила его в волны, и они покраснели, как будто в том месте, где он упал, из моря выступили капли крови.

В последний раз взглянула она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

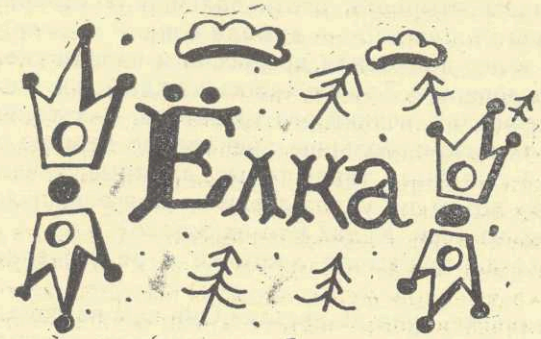
Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти; она видела ясное солнце и какие-то прозрачные, чудные создания, сотнями реявшие над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и розовые облака в небе; голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не слышало бы ее, так же как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка заметила, что и она стала такой же, оторвавшись от морской пены.

— К кому я иду? — спросила она, поднимаясь в воздухе, и ее голос звучал такую же дивную музыкой.

— К дочерям воздуха! — ответили ей воздушные создания. — Мы летаем повсюду и всем стараемся приносить радость. В жарких странах, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, мы навеем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоуханные цветы и несем людям исцеление и отраду... Летим с нами в заоблачный мир! Там ты обретешь любовь и счастье, каких не нашла на земле.

И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу, и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидела, как принц с молодой женой ищет ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая, поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и вознеслась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.



С

тояла в лесу этакая славенькая елочка; место у нее было хорошее: и солнышко ее пригревало, и воздуха было вдосталь, а вокруг росли товарищи постарше, ель да сосна. Только не терпелось елочке самой стать взрослой; не думала она ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не замечала и говорливых деревенских детишек, когда они приходили в лес собирать землянику или малину. Наберут полную кружку, а то нанижут ягоды на соломины, подсядут к елочке и скажут:

— Какая славная елочка!

А ей хоть бы и вовсе не слушать таких речей.

Через год подросла елочка на один побег, через год вытянулась еще немножко; так, по числу побегов, всегда можно узнать, сколько лет росла елка.

— Ах, быть бы мне такой же большой, как другие! — вздыхала елка. — Уж как бы широко раскинулась я ветвями да взглянула макушкой на вольный свет! Птицы вили бы гнезда у меня в ветвях, а как подует ветер, я кивала бы с достоинством, не хуже других!

И не были ей в радость ни солнце, ни птицы, ни алые облака, утром и вечером проплывавшие над нею.

Когда стояла зима и снег лежал вокруг искрящейся белой пеленой, частенько являлся вприпрыжку заяц и перескакивал прямо через елочку — такая обида! Но прошло две зимы, и на

третью елка так подросла, что зайцу уже приходилось обегать ее кругом.

«Ах! Вырасти, вырасти, стать большой и старой — лучше этого нет ничего на свете!» — думала елка.

По осени в лес приходили дровосеки и валили сколько-то самых больших деревьев. Так случалось каждый год, и елка, теперь уже совсем взрослая, всякий раз трепетала, — с таким стоном и звоном падали наземь большие прекрасные деревья. С них срубали ветви, и они были такие голые, длинные, узкие — просто не узнать. Но потом их укладывали на повозки, и лошади увозили их прочь из лесу. Куда? Что их ждало?

Весной, когда прилетели ласточки и аисты, елка спросила у них:

— Вы не знаете, куда их увезли? Они вам не попадались?

Ласточки не знали, но аист призадумался, кивнул головой и сказал:

— Пожалуй, что знаю. Когда я летел из Египта, мне встретилось много новых кораблей с великолепными мачтами. Помоему, это они и были, от них пахло елью. Я с ними много раз здоровался, и голову они держали высоко, очень высоко.

— Ах, если б и я была взрослой, и могла поплыть через море! А какое оно из себя, это море? На что оно похоже?

— Ну, это долго рассказывать, — ответил аист и улетел.

— Радуйся своей молодости! — говорили солнечные лучи. — Радуйся юной жизни, которая играет в тебе!

И ветер ласкал елку, и роса проливалась над ней слезы, но она этого не понимала.

Как подходило рождество, рубили в лесу совсем юные елки, иные из них были даже моложе и ниже ростом, чем наша, которая не знала покоя и все рвалась из лесу. Эти деревца, а они, кстати сказать, были самые красивые, всегда сохраняли свои ветки, их сразу укладывали на повозки, и лошади увозили их из лесу.

— Куда они? — спрашивала елка. — Они ведь не больше меня, а одна так и вовсе меньше. Почему они сохранили все свои ветки? Куда они едут?

— Мы знаем! Мы знаем! — чирикали воробьи. — Мы бывали в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда они едут! Их ждет такой блеск и слава, что и не придумаешь! Мы заглядывали в окна, мы видели! Их сажают посреди теплой комнаты и украшают замечательными вещами — золочеными яблоками, медовыми пряниками, игрушками и сотнями свечей!

— А потом? — спрашивала елка, трепеща ветвями. — А потом? Потом что?

— Больше мы ничего не видали! Это было бесподобно!

— А может, и мне суждено пойти этим сияющим путем! — ликовала елка. — Это еще лучше, чем плавать по морю. Ах, как я томлюсь! Хоть бы поскорей опять рождество! Теперь и я такая же большая и рослая, как те, которых увезли в прошлом году...

Ах, только бы мне попасть на повозку! Только бы попасть в теплую комнату со всей этой славой и великолепием! А потом?.. Ну, а потом будет что-то еще лучше, еще прекраснее, а то к чему же еще так наряжать меня? Уж конечно, потом будет что-то еще более величественное, еще более великолепное!.. Но что? Ах, как я тоскую, как томлюсь! Сама не знаю, что со мной делается!

— Радуйся мне! — говорили воздух и солнечный свет. — Радуйся своей юной свежести здесь, на приволье!

Но она ни капельки не радовалась; она росла и росла, зиму и лето стояла она зеленая; темно-зеленая стояла она, и все, кто не видел ее, говорили: «Какая славная елка!» — и под рождество срубили ее первую. Глубоко, в самое нутро ее вошел топор, елка со вздохом пала наземь, и было ей больно, было дурно, и не могла она думать ни о каком счастье, и тоска была разлучаться с родиной, с клочком земли, на котором она выросла: знала она, что никогда больше не видать ей своих милых старых товарищей, кустиков и цветков, росших вокруг, а может, даже и птиц. Отъезд был совсем невеселым.

Очнулась она, лишь когда ее сгрузили во дворе вместе с остальными и чей-то голос сказал:

— Вот эта просто великолепна! Только эту!

Пришли двое слуг при полном параде и внесли елку в большую красивую залу. Повсюду на стенах висели портреты, на большой изразцовой печи стояли китайские вазы со львами на крышках; были тут кресла-качалки, шелковые диваны и большие столы, а на столах книжки с картинками и игрушки, на которые потратили, наверное, сто раз по сто риксдалеров, — во всяком случае, дети говорили так. Елку поставили в большую бочку с песком, но никто бы и не подумал, что это бочка, потому что она была обернута зеленой материей, а стояла на большом пестром ковре. Ах, как трепетала елка! Что-то будет теперь? Девушки и слуги стали наряжать ее. На ветвях повисли маленькие сумочки, вырезанные из цветной бумаги, и каждая была наполнена сладостями; золоченые яблоки и грецкие орехи словно сами выросли на елке, и больше ста маленьких свечей, красных, белых и голубых, воткнули ей в ветки, а на ветках среди зелени закачались куколочки, совсем как живые человечки — елка еще ни разу не видела таких, — закачались среди зелени, а вверху, на самую макушку, ей посадили усыпанную золотыми блестками звезду. Это было великолепно, совершенно бесподобно...

— Сегодня вечером, — говорили все, — сегодня вечером она засияет.

«Ах! — подумала елка. — Скорей бы вечер! Скорей бы зажгли свечи! И что же будет тогда? Уж не придут ли из леса деревья посмотреть на меня? Уж не слетятся ли воробьи к окнам? Уж не приживусь ли я здесь, уж не буду ли стоять разубранная зиму и лето?»

Да, она изрядно во всем разбиралась и томилась до того, что

у нее прямо-таки раздуделась кора, а для дерева это все равно что головная боль для нашего брата.

И вот зажгли свечи. Какой блеск, какое великолепие! Елка затрепетала всеми своими ветвями, так что одна из свечей пошла огнем по ее зеленой хвое; горячо было ужасно.

— Господи помилуй! — закричали девушки и бросились гасить огонь.

Теперь елка не смела даже и трепетать. О, как страшно ей было! Как боялась она потерять хоть что-нибудь из своего убранства, как была ошеломлена всем этим блеском... И тут распахнулись створки дверей, и в зал гурьбой ворвались дети, и было так, будто они вот-вот свалят елку. За ними степенно следовали взрослые. Малыши замерли на месте, но лишь на мгновение, а потом пошло такое веселье, что только в ушах звенело. Дети пустились в пляс вокруг елки и один за другим срывали с нее подарки.

«Что они делают? — думала елка. — Что будет дальше?»

Свечи выгорали вплоть до самых ветвей, и когда они выгорели, их потушили, и дозволено было детям обогреть елку. О, как они набросились на нее! Только ветки затрещали. Не будь она привязана макушкой с золотой звездой к потолку, ее бы опрокинули.

Дети кружились в хороводе со своими великолепными игрушками, а на елку никто и не глядел, только старая няня высматривала среди ветвей, не осталось ли где забытого яблока или финика.

— Сказку! Сказку! — закричали дети и подтащили к елке маленького толстого человечка, и он уселся прямо под ней.

— Так мы будем совсем как в лесу, да и елке не мешает послушать, — сказал он, — только я расскажу всего одну сказку. Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который с лестницы свалился, а все ж таки в честь попал да принцессу за себя взял?

— Про Иведе-Аведе! — кричали одни.

— Про Клумпе-Думпе! — кричали другие.

И был шум и гам, одна только елка молчала и думала: «А я-то что же, уж больше не с ними, ничего уж больше не сделаю?» Она свое отыграла, она, что ей было положено, сделала.

И толстый человечек рассказал про Клумпе-Думпе, что с лестницы свалился, а все ж таки в честь попал да принцессу за себя взял. Дети захопали в ладоши, закричали: «Еще, еще расскажи!», им хотелось послушать и про Иведе-Аведе, но пришлось остаться при Клумпе-Думпе. Совсем притихшая, задумчивая стояла елка, птицы в лесу ничего подобного не рассказывали.

«Клумпе-Думпе с лестницы свалился, а все ж таки принцессу за себя взял! Вот, вот, бывает же такое на свете! — думала елка и верила, что все это правда, ведь рассказывал-то такой славный человек. — Вот, вот, почем знать? Может, и я с лестницы свалюсь и выйду за принца».

И она радовалась, что назавтра ее опять украсят свечами и игрушками, золотом и фруктами.

«Уж завтра-то я не буду так трястись! — думала она. — Завтра я вдосталь натешусь своим торжеством. Опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может, и про Иведе-Аведе». Так, тихая и задумчивая, простояла она всю ночь.

Поутру пришел слуга со служанкой.

«Сейчас меня опять начнут наряжать! — подумала елка. Но ее волоком потащили из комнаты, потом вверх по лестнице, потом на чердак, а там сунули в темный угол, куда не проникал дневной свет. — Что бы это значило? — думала елка. — Что мне тут делать? Что я могу тут услышать?» И она прислонилась к стене и так стояла и все думала, думала. Времени у нее было достаточно.

Много дней и ночей миновало; на чердак никто не приходил. А когда наконец кто-то пришел, то затем лишь, чтобы поставить в угол несколько больших ящиков. Теперь елка стояла совсем запрятанная в угол, о ней как будто окончательно забыли.

«На дворе зима! — подумала она. — Земля затвердела и покрылась снегом, люди не могут пересадить меня, стало быть, я, верно, простою тут под крышей до весны. Как умно придумано! Какие они все-таки добрые, люди!.. Вот если б только тут не было так темно, так страшно одиноко... Хотя бы один зайчишка какой! Славно все-таки было в лесу, когда вокруг снег да еще заяц проскочит, пусть даже и перепрыгнет через тебя, хотя когда-то я этого терпеть не могла. Все-таки ужасно одиноко здесь наверху!»

— Пип! — сказала вдруг маленькая мышь и выскочила из норы, а за нею следом еще одна малышка. Они обнюхали елку и стали шмыгать по ее ветвям.

— Тут жутко холодно! — сказали мыши. — А то бы просто благодать! Правда, старая елка?

— Я вовсе не старая! — отвечала елка. — Есть много деревьев куда старше меня!

— Откуда ты? — спросили мыши. — И что ты знаешь? — Они были ужасно любопытные. — Расскажи нам про самое чудесное место на свете! Ты была там? Ты была когда-нибудь в кладовке, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока, где можно плясать по сальным свечам, куда войдешь тощей откуда выйдешь жирной?

— Не знаю я такого места, — сказала елка, — зато знаю лес, где светит солнце и поют птицы!

И рассказала елка про свою юность, а мыши отродясь ничего такого не слышали и, выслушав елку, сказали:

— Ах, как много ты видела! Ах, как счастлива ты была!

— Счастлива? — переспросила елка и задумалась над своими словами. — Да пожалуй, веселые были денечки!

И тут рассказала она про сочельник, про то, как ее разубрали пряниками и свечами.

— О! — сказали мыши. — Какая же ты была счастливая, старая елка!

— Я вовсе не старая! — сказала елка. — Я пришла из лесу только нынешней зимой! Я в самой поре! Я только что вошла в рост!

— Как славно ты рассказываешь! — сказали мыши и на следующую ночь привели с собой еще четырех послушать ее, и чем больше елка рассказывала, тем яснее припоминала все и думала: «А ведь и в самом деле веселые были денечки! Но они вернуться, вернуться! Клумпе-Думпе с лестницы свалился, а все ж таки принцессу за себя взял, так, может, и я за принца выйду!» И вспомнил елке этаким хорошенький молоденький дубок, что рос в лесу, и был он для елки настоящий прекрасный принц.

— А кто такой Клумпе-Думпе? — спросили мыши.

И елка рассказала всю сказку, она запомнила ее слово в слово. И мыши подпрыгивали от радости чуть ли не до самой ее верхушки.

На следующую ночь мышей пришло куда больше, а в воскресенье явились даже две крысы. Но крысы сказали, что сказка вовсе не так уж хороша, и мыши очень огорчились, потому что теперь и им сказка стала меньше нравиться.

— Вы только одну эту историю и знаете? — спросили крысы.

— Только одну! — отвечала елка. — Я слышала ее в самый счастливый вечер всей моей жизни, но тогда я и не думала, как счастлива я была.

— Чрезвычайно убогая история! А вы не знаете какой-нибудь еще — со шпиком, с сальными свечами? Истории про кладовую?

— Нет, — отвечала елка.

— Так премного благодарны! — сказали крысы и убралась восвояси.

Мыши в конце концов тоже разбежались, и тут елка сказала, вздыхая:

— А все ж хорошо было, когда они сидели вокруг, эти резвые мышкы, и слушали, что я им рассказываю! Теперь и этому конец. Но уж теперь-то я не упущу случая порадоваться, как только меня снова вынесут на белый свет!

Но когда это случилось... Да, это было утром, пришли люди и шумно завозились на чердаке. Ящики передвинули, елку вытащили из угла; ее, правда, больнохонько шваркнули об пол, но слуга тут же поволок ее к лестнице, где брезжил дневной свет.

«Ну, вот, это начало новой жизни!» — подумала елка. Она почувствовала свежий воздух, первый луч солнца, и вот уж она на дворе. Все произошло так быстро; елка даже забыла оглядеть себя, столько было вокруг такого, на что стоило посмотреть. Двор примыкал к саду, а в саду все цвело. Через изгородь перевешивались свежие, душистые розы, стояли в цвету липы, летали ласточки. «Вить-вить! Вернулась моя женушка!» — щебетали они, но говорилось это не про елку.

«Уж теперь-то я заживу», — радовалась елка, расправляя

ветви. А ветви-то были все высохшие, да пожелтевшие, и лежала она в углу двора в крапиве и сорняках. Но на верхушке у нее все еще сидела звезда из золоченой бумаги и сверкала на солнце.

Во дворе весело играли дети — те самые, что в сочельник плясали вокруг елки и так радовались ей. Самый младший подскочил к елке и сорвал звезду.

— Поглядите, что еще осталось на этой гадкой старой елке! — сказал он и стал топтать ее ветви, так что они захрустели под его сапожками.

А елка взглянула на сад в свежем убранстве из цветов, взглянула на себя и пожалела, что не осталась в своем темном углу на чердаке; вспомнила свою свежую юность в лесу, и веселый сочельник, и маленьких мышек, которые с таким удовольствием слушали сказку про Клумпе-Думпе.

— Конец, конец! — сказала бедное дерево. — Уж хоть бы я радовалась, пока было время! Конец, конец!

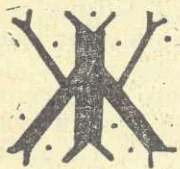
Пришел слуга и разрубил елку на щепки — вышла целая охапка; жарко запылали они под большим пивоваренным котлом; и так глубоко вздыхала елка, что каждый вздох был как маленький выстрел; игравшие во дворе дети сбежались к костру, уселись перед ним и, глядя в огонь, кричали:

— Пиф-паф!

А елка при каждом выстреле, который был ее глубоким вздохом, вспоминала то солнечный летний день, то звездную зимнюю ночь в лесу, вспоминала сочельник и сказку про Клумпе-Думпе — единственную, которую слышала и умела рассказывать... Так она и сгорела.

Мальчишки играли во дворе, и на груди у самого младшего красовалась звезда, которую носила елка в самый счастливый вечер своей жизни; он прошел, и с елкой все кончено, и с этой историей тоже. Конечно, конечно, и так бывает со всеми историейми.

Штопальная игла



Жила-была штопальная игла. Она так важничала, словно была тонкой швейной иголкой.

— Осторожнее! — сказала она пальцам, которые вынимали ее из коробки. — Не уроните меня! Упаду на пол — чего доброго, затеряюсь, такая я тонкая.

— Будто уж! — ответили пальцы и крепко обхватили штопальную иглу.

— Вот видите, — сказала штопальная игла, — со мной целая свита! — И она потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

Пальцы ткнули иглу в старый кухаркин башмак: на нем лопнула кожа и надо было зашить дыру.

— Фу, какая черная работа! — сказала штопальная игла. — Я не выдержу. Я сломаюсь!

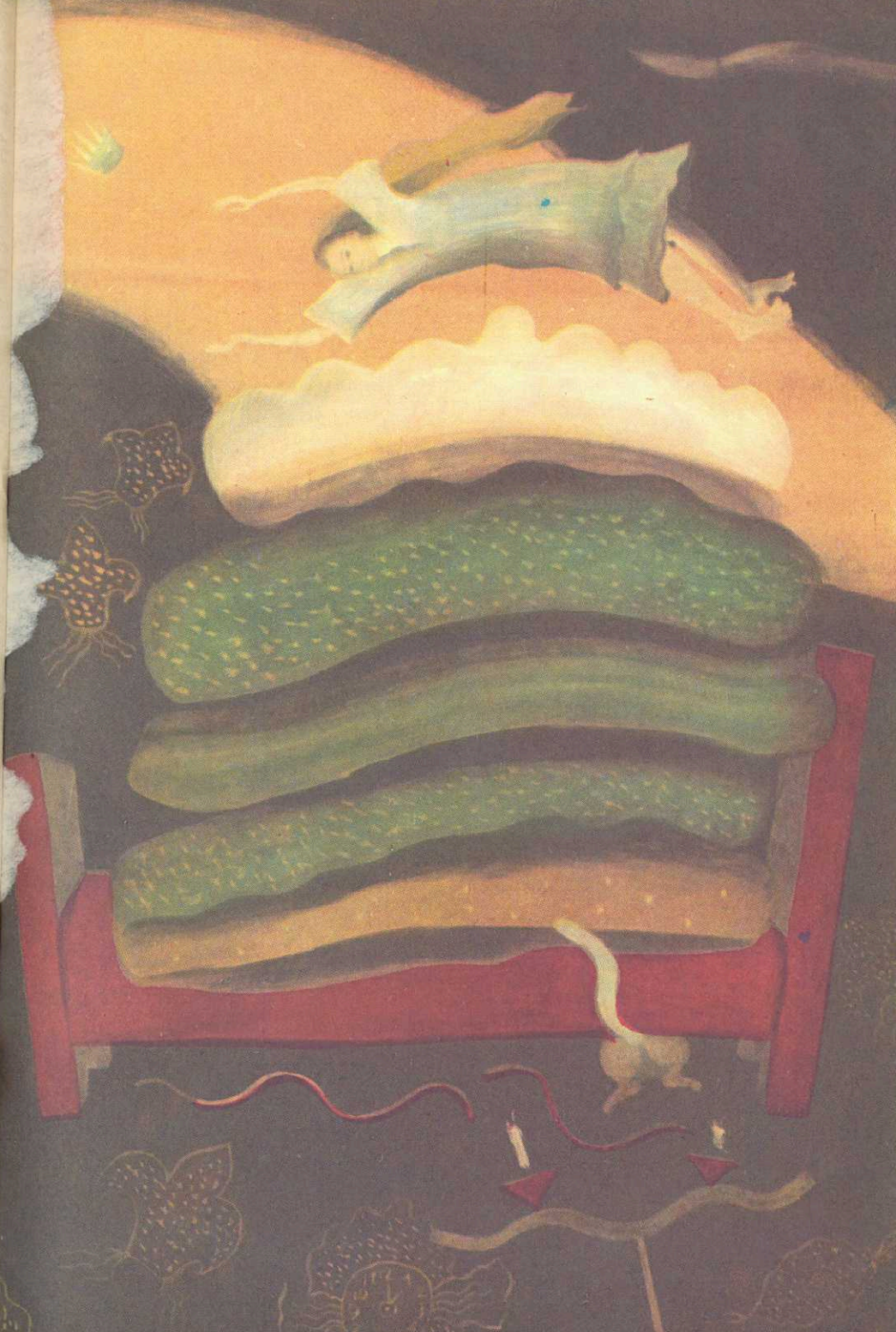
И сломалась.

— Ну вот! — сказала игла. — Я же говорила, что я слишком тонка.

«Теперь она никуда не годится», — подумали пальцы, но все же продолжали крепко держать иглу: кухарка накапала на сломанный конец сургуча и заколола иглой свой шейный платок.

— Вот теперь я брошка! — сказала штопальная игла. — Я всегда знала, что займу высокое положение: в ком есть толк, тот не пропадет.

И она усмехнулась про себя — никто ведь не слышал, чтобы





штопальные иглы смеялись вслух. Вид у нее был такой гордый, будто она ехала в карете и поглядывала по сторонам.

— Позвольте спросить, вы из золота? — обратилась игла к своей соседке-булавке. — Вы очень милы, и у вас собственная голова. Жаль только, маловата. Постарайтесь отрастить ее — не всякому ведь достается головка из настоящего сургуча.

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка и угодила прямо в сточный желоб, куда кухарка выливала помой.

— Отправляюсь в плавание! — заявила штопальная игла. — Только бы не застрять тут.

Но она застряла.

— Ах, я слишком тонка, я не создана для этого мира! — вздохнула она, сидя на дне уличной канавы. — Но не надо падать духом — я ведь знаю себе цену.

И она тянулась в струнку и духом не падала.

Над ней проплывала всякая всячина — щепки, соломинки, клочки старых газет...

— Ишь плывут! — говорила штопальная игла. — И ни один не догадается, кто торчит здесь, под водой. А ведь это я здесь торчу! Я сижу! Вон плывет щепка. У нее только и мысли, что о щепках. Щепкой она и останется. А вон соломинка несется... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай носа! Смотри наткнешься на камень. А вон обрывок газеты. Все давно уж забыто, что на нем напечатано, а он глядите как важничает... Одна я сижу тихо и смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня никто не отнимет.

Вдруг возле нее что-то блеснуло.

— Брильянт! — подумала штопальная игла. А это был простой бутылочный осколок, но он ярко блеснул на солнце. И штопальная игла с ним заговорила.

— Я брошка! — сказала она. — А вы, должно быть, брильянт?

— Да, в этом роде, — ответил бутылочный осколок.

И они разговорились — каждый считал другого и себя настоящей драгоценностью, а все прочие на свете казались им зазнайками.

Штопальная игла сказала:

— Я жила в коробке у одной девицы. Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пять пальцев, и вы не можете себе представить, до чего доходило их чванство. А ведь у них только и дела было, что вынимать меня из коробки да класть обратно.

— А они блестели? — спросил бутылочный осколок.

— Блестели? — переспросила игла. — Нет, блеска в них не было, зато чванства хоть отбавляй. Их было пять родных брать-

ев, Все были разного роста, но держались всегда вместе — шеренгой. Только крайний из них, Толстяк, выдавался из ряда. Кланысь, он сгибался только пополам, а не в три погибели, как остальные братья. Зато он хвастался, что если его отрубят, то весь человек будет негоден для военной службы. Второй палец звался Лакомкой. Куда только он не тыкался — и в сладкое и в кислое, и в солнце и в луну. А когда кухарка писала, он нажимал на перо. Третьего брата звали Долговязым. Он смотрел на всех свысока. Четвертый, по прозванию Златоперст, носит вместо пояса золотое кольцо. Ну, а самый маленький — Пер-музыкант ничего не делал и очень этим гордился. Хвастунами они были, хвастунами и остались, а я вот угодила из-за них в канаву.

— Зато теперь мы сидим и блестим, — сказал бутылочный осколок.

Но тут воды в канаве прибыло, она хлынула через край и унесла с собой бутылочный осколок.

— Вот и он пошел на повышение! — вздохнула штопальная игла. — А я осталась. Видно, я слишком тонка. Но я горжусь этим, и это благородная гордость.

И она сидела прямо на дне канавы и передумала много дум. «Я, наверно, родилась от солнечного луча, — так я тонка. Недаром мне кажется, что солнце все время ищет меня под водой. Ах, я так тонка, что мой бедный отец никак не может меня найти! Не отломись моя старая головка с глазком, я, кажется, заплакала бы сейчас. Впрочем, нет, я бы этого не сделала. Это неприлично».

Однажды, пришли уличные мальчишки и стали копаться в канаве, выскывая старые гвозди, монетки и все в том же духе. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие.

— Ай! — вскрикнул вдруг один из мальчишек. Он укололся о штопальную иглу. — Гляди-ка, что за штука!

— Я не штука, я барышня! — заявила штопальная игла, но никто ее не услышал.

Старую штопальную иглу трудно было узнать. Сургучная головка отвалилась, сама игла вся почернела. Но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

— Вон плывет яичная скорлупа! — закричали мальчишки, воймали скорлупу и воткнули в нее штопальную иглу.

«Белое идет к черному, — подумала штопальная игла. — Теперь меня всем видать! Только бы не поддаться морской болезни, это меня сломит».

Но она не поддалась морской болезни и не сломилась.

«Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок и притом никогда не забывать, что ты выше простого смертного».

Теперь я совсем оправилась. Кто поболагороднее, тот, оказывается, и выносливее».

— Крак! — сказала яичная скорлупа. Ее переехал тяжело груженный воз.

— Ой, как давит! — завопила штопальная игла. — Теперь уж меня непременно скрутит морская болезнь! Я не выдержу!

Но она выдержала. Воз проехал, а штопальная игла осталась лежать на мостовой, как лежала.

Ну и пусть себе лежит.



Пастушка и Трубочист

Видали вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и украшенный резными завитушками и листьями? Такой вот шкаф — прабабушкино наследство — стоял в гостиной. Он был весь покрыт резьбой — розами, тюльпанами и самыми затейливыми завитушками. Между ними выглядывали олени головки с ветвистыми рогами, а на самой середке был вырезан во весь рост человек. На него нельзя было смотреть без смеха, да и сам он ухмылялся, от уха до уха — улыбкой такую гримасу никак не назовешь. У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержант Козлоног, потому что выговорить такое имя трудно и дается такой титул не многим. Зато и вырезать такую фигуру не легко, ну да все-таки вырезали. Человек все время смотрел на подзеркальный столик, где стояла хорошенькая фарфоровая пастушка. Позолоченные башмаки, юбочка, грациозно подколота пунцовой розой, позолоченная шляпа на головке и пастуший посох в руке — ну разве не красота!

Рядом с нею стоял маленький трубочист, черный, как уголь, но тоже из фарфора и такой же чистенький и милый, как все иные прочие. Он ведь только изображал трубочиста, и мастер точно так же мог бы сделать его принцем — все равно!

Он стоял грациозно, с лестницей в руках, и лицо у него было блосо-розовое, словно у девочки, и это было немножко неправиль-

но, он мог бы быть и почумазей. Стоял он совсем рядом с пастушкой — как их поставили, так они и стояли. А раз так, они взяли да обручились. Парочка вышла хоть куда; оба молодые, оба из одного и того же фарфора и оба одинаково хрупкие.

Тут же рядом стояла еще одна кукла, втрое больше их ростом, — старый китаец, умевший кивать головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, вот только доказательств у него не хватало. Он утверждал, что она должна его слушаться, и потому кивал головою обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку.

— Хороший у тебя будет муж! — сказал старый китаец. — Похоже, даже из красного дерева. С ним ты будешь обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержантшей. У него целый шкаф серебра, не говоря уж о том, что лежит в потайных ящиках.

— Не хочу в темный шкаф! — отвечала пастушка. — Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен!

— Ну так будешь двенадцатой! — сказал китаец. — Ночью, как только старый шкаф закричит, сыграем вашу свадьбу, иначе не быть мне китайцем!

Тут он кивнул головой и заснул.

А пастушка расплакалась и, глядя на своего милого фарфорового трубочиста, сказала:

— Прошу тебя, убежим со мной куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться.

— Ради тебя я готов на все! — ответил трубочист. — Уйдем сейчас же! Уж наверное, я сумею прокормить тебя своим ремеслом.

— Только бы спуститься со столика! — сказала она. — Я не вздохну свободно, пока мы не будем далеко-далеко!

Трубочист успокаивал ее и показывал, куда ей лучше ступать своей фарфоровой ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку. Его лестница также сослужила им добрую службу, и в конце концов они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени вытянули вперед головы, выставили рога и вертели ими во все стороны, а обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержант Козлоног высоко подпрыгнул и крикнул старому китайцу:

— Они убегают! Убегают!

Пастушка и трубочист испугались и шмыгнули в подоконный ящик. Тут лежали разрозненные колоды карт, был кое-как установлен кукольный театр. На сцене шло представление.

Все дамы — бубновые и червонные, трефовые и пиковые — сидели в первом ряду и обмахивались тюльпанами, а за ними стояли валеты и старались показать, что и они о двух головах, как все фигуры в картах. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали, и пастушка заплакала: это так напомнило ее собственную судьбу.

— Сил моих больше нет! — сказала она трубочисту. — Уйдем отсюда!

Но когда они очутились на полу и взглянули на свой столик, они увидели, что старый китаец проснулся и раскачивается всем телом — ведь внутри него перекатывался свинцовый шарик.

— Ай, старый китаец гонится за нами! — вскрикнула пастушка и в отчаянии упала на свои фарфоровые колени.

— Стой! Придумал! — сказал трубочист. — Видишь вон там, в углу, большую вазу с сухеными душистыми травами и цветами? Спрячемся в нее! Ляжем там на розовые и лавандовые лепестки, и если китаец доберется до нас, засыпем ему глаза солью¹.

— Ничего из этого не выйдет! — сказала пастушка. — Я знаю, китаец и ваза были когда-то помолвлены, а от старой дружбы всегда что-нибудь, да остается. Нет, нам одна дорога — пуститься по белу свету!

— А у тебя хватит на это духу? — спросил трубочист. — Ты подумала о том, как велик свет? О том, что нам уж никогда не вернуться назад?

— Да, да! — отвечала она.

Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал:

— Мой путь ведет через дымовую трубу! Хватит ли у тебя мужества залезть со мной в печку, а потом в дымовую трубу? Там-то уж я знаю, что делать! Мы поднимемся так высоко, что до нас и не доберутся. Там, на самом верху, есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет!

И он повел ее к печке.

— Как тут темно! — сказала она, но все-таки полезла за ним и в печку, и в дымоход, где было темно, хоть глаз выколи.

— Ну вот мы и в трубе! — сказал трубочист. — Смотри, смотри! Прямо над нами сияет чудесная звездочка!

На небе и в самом деле сняла звезда, словно указывая им путь. А они лезли, карабкались ужасной дорогой все выше и выше. Но трубочист поддерживал пастушку и подсказывал, куда ей удобнее ставить свои фарфоровые ножки. Наконец они добрались до самого верха и присели отдохнуть на край трубы — они очень устали, и не мудрено.

Над ними было усеянное звездами небо, под ними все крыши города, а кругом на все стороны, и вширь, и вдаль, распахнулся вольный мир. Бедная пастушка никак не думала, что свет так велик. Она склонилась головкой к плечу трубочиста и заплакала так горько, что слезы смыли всю позолоту с ее пояса.

— Это для меня слишком! — сказала пастушка. — Этого мне не вынести! Свет слишком велик! Ах, как мне хочется обратно на подзеркальный столик! Не будет у меня ни минуты спокойной,

¹ В старину в комнатах ставили для запаха вазы с сухими цветами и травами; смесь эта посыпалась солью, чтобы сильнее пахла.

пока я туда не вернусь! Я ведь пошла за тобой на край света, а теперь ты проводи меня обратно домой, если любишь меня!

Трубочист стал ее вразумлять, напомнил о старом китаеце и обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержанте Козлоного, но она только рыдала безутешно, да целовала своего трубочиста. Делать нечего, пришлось уступить ей, хоть это и было неразумно.

И вот они спустились обратно вниз по трубе. Не легко это было! Оказавшись опять в темной печи, они сначала постояли у дверцы, прислушиваясь к тому, что делается в комнате. Все было тихо, и они выглянули из печи. Ах, старый китаец валялся на полу: погнавшись за ними, он свалился со столика и разбился на три части. Спина отлетела начисто, голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержант стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал.

— Какой ужас! — воскликнула пастушка. — Старый дедушка разбился, и виною этому мы! Ах, я этого не переживу!

И она заломила свои крошечные ручки.

— Его еще можно починить! — сказал трубочист. — Его отлично можно починить! Только не волнуйся! Ему приклеят спину, а в затылок вгонят хорошую заклепку, и он опять будет совсем как новый и сможет наговорить нам кучу неприятных вещей!

— Ты думаешь? — сказала пастушка.

И они снова вскарабкались на свой столик.

— Далеко же мы с тобою ушли! — сказал трубочист. — Не стояло и трудов!

— Только бы дедушку починили! — сказала пастушка. — Или это очень дорого обойдется?..

Дедушку починили: приклеили ему спину и вогнали в затылок хорошую заклепку. Он стал как новый, только головой кивать перестал.

— Вы что-то загордились с тех пор, как разбились! — сказал ему обер-унтер-генерал-кригскомиссар-сержант Козлоног. — Только с чего бы это? Ну так как, отдадите за меня внучку?

Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китаеца: они так боялись, что он кивнет. Но кивать он уже больше не мог, а объяснять посторонним, что у тебя в затылке заклепка, тоже радости мало. Так и осталась фарфоровая парочка неразлучна. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.



На одной улице стоял старый-престарый дом, построенный лет триста тому назад. Это можно было прочесть на балке, где год его постройки был вырезан в обрамлении тюльпанов и плетей хмеля. Там же было целое стихотворение, написанное так, как писали в старину, а на балках над каждым окном красовались уморительные рожи. Верхний этаж далеко выступал над нижним, а под самой крышей проходил водосточный желоб, оканчивавшийся головой дракона. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из брюха — желоб-то был дырявый.

Все прочие дома на улице были такие новенькие, опрятные, с большими окнами и ровными стенами. Сразу видно было, что они не желают иметь ничего общего со старым домом и, пожалуй, даже думают про себя: «Долго ли это старье будет торчать тут на позор всей улице? Из-за этого выступа нам не видно, что делается дальше на нашей стороне улицы. А лестница-то! Широкая, будто во дворце, высоченная, словно ведет на колокольню. Железные перила как у входа в могильный склеп, да еще с медными шишками. Какая безвкусица!»

На другой стороне улицы дома были такие же новенькие, опрятные, и думали они то же самое. Но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными лучистыми глазами. Ему старый дом и при солнце и при луне нравился куда больше всех остальных. Он глядел на стену старого дома с об-

лупившейся штукатуркой, и его воображению рисовались самые причудливые картины прошлого: целая улица, застроенная такими же домами с широкими лестницами, выступами и островерхими кровлями, солдаты с алебардами и водосточные желоба, извивающиеся, словно драконы и змеи. Да, на этот дом можно было заглядеться!

А жил в нем старик, носивший панталоны до колен, камзол с большими металлическими пуговицами и парик — самый настоящий, это сразу было видно. По утрам к старику являлся старый слуга, который прибирал в доме и ходил за покупками. Остальное время старик оставался в доме совсем один. Случалось, он подходил к окну и выглядывал на улицу. Мальчик кивал ему, и старик кивал в ответ. Так они познакомились и подружились, хотя и не обмолвились ни словом. Ну да это ничуть им не мешало.

Мальчик слышал, как родители его говорили:

— Старику живется неплохо, вот только он ужасно одинок!

И вот в ближайшее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумагу, вышел за ворота и остановил проходившего мимо слугу старика.

— Послушай! Снеси-ка это от меня старому господину напротив! У меня два оловянных солдатика, так вот ему один! Пусть возьмет его, ведь я знаю, что он ужасно одинок!

Старый слуга обрадованно кивнул и отнес солдатика в старый дом. Потом тот же слуга вернулся спросить, не хочет ли мальчик сам побывать у старика. Родители позволили, и мальчик отправился в гости.

Медные шишки на перилах блестели ярче обычного, как будто их вычистили к приходу гостя. А резные трубачи — на дверях были вырезаны трубачи, выглядывающие из тюльпанов, — казалось, трубили изо всех сил, и щеки их так и раздувались: «Ту-ру-ру! Мальчик идет! Ту-ру-ру!»

Двери открылись, и мальчик вошел в коридор. Стены здесь были увешаны старинными портретами рыцарей в доспехах и дам в шелковых платьях. Доспехи бряцали, платья шуршали... Внутренняя лестница сначала поднималась высоко вверх, а потом приспускалась вниз, и вот уж мальчик на изрядно ветхой террасе с большими дырами и длинными щелями в полу, через которые пробивалась зеленая трава и листья. Вся терраса, весь двор и стена дома так густо поросли зеленью, что терраса казалась настоящим садом, хотя на самом-то деле она была всего-навсего терраса! Тут стояли старинные горшки в виде голов с ослиными ушами. Цветы в них росли как хотели. В одном горшке так и лезла через край гвоздика. Зеленые ростки ее разбегались во все стороны и как будто говорили: «Ветерок ласкает меня, солнышко целует и обещает подарить мне еще один цветок в воскресенье! Цветок в воскресенье!»

С террасы мальчика провели в комнату, обитую свиной кожей, тисненной золотыми цветами.

— Позолота сотрется, свиная кожа остается! — сказали стены.

В этой комнате стояли резные кресла с высокими спинками и подлокотниками.

— Присядь! Присядь! — приглашали они. — Ох, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как и старый шкаф. Ревматизм в пояснице!

Наконец мальчик попал в комнату с выступом на улицу. Тут сидел старичок хозяин.

— Спасибо за оловянного солдатика, дружок! — сказал он. — И спасибо за то, что зашел проведаты!

«Так, так!» или, скорее, «кряк, кряк!» захряхтела вся мебель. Стульев, столов и кресел было так много, что они чуть ли не выглядывали друг у дружки из-за спины, чтобы посмотреть на мальчика.

На стене висел портрет молодой дамы с красивым живым лицом, но причесанной и одетой по старинной моде: волосы напудрены, платье колоколом. Она не сказала ни «так», ни «кряк», а только ласково посмотрела на мальчика, и он сразу же спросил у старика:

— Где ты ее достал?

— Напротив, у старьевщика, — отвечал тот. — Там много таких портретов, но никому до них дела нет: никто не знает, с кого они писаны, все эти люди давным-давно покоятся в земле. Вот и эта дама умерла лет пятьдесят назад, но я знал ее.

За стеклом под картиной висел букет сухих цветов. Им, верно, тоже было лет под пятьдесят, такие старые они были на вид.

Маятник больших часов качался взад и вперед, стрелка двигалась по кругу, и все в комнате старело с каждой минутой, само того не замечая.

— У нас дома говорят, что ты ужасно одинок, — сказал мальчик.

— О, меня постоянно навещают воспоминания прошлого... Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов! А теперь вот и ты навестил меня! Нет, мне хорошо!

И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диковинные кареты, каких сегодня уже не увидишь, солдаты, похожие на трефовых валетов, ремесленники с развевающимися цеховыми знаменами. У портных на знаменах были изображены ножницы, поддерживаемые двумя львами, а у сапожников — сапоги, а двуглавый орел — сапожники ведь делают все парные вещи.

Да, это была книга так книга!

Старичок хозяин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. Нет, в старом доме было чудо как хорошо!

— А я здесь не выдержу! — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. — Тут так пусто, так печально. Нет, кто привык к жизни в семье, тому здесь не житье. Я здесь не выдержу! День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше. Тут не

услышишь ни приятных бесед, какие вели, бывало, твои родители, ни веселой возни ребятишек. Нет, старый хозяин так одинок! Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него ласково? Устраивает у него елку? Ничего у него нет впереди, кроме похорон. Я здесь не выдержу!

— Ну, полно! — сказал мальчик. — По-моему, здесь чудесно. А еще сюда приходят старые воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц!

— Не видал, не знаю! — отвечал оловянный солдатик. — Я здесь не выдержу!

— Должен выдержать! — сказал мальчик.

Тут в комнату вошел сияющий хозяин с отменным вареньем, яблоками и орехами, и мальчик думать забыл об оловянном солдатике.

Веселый и довольный, вернулся он домой. Проходили дни и недели. Мальчик просил слугу кланяться хозяину старого дома, и тот просил кланяться в ответ, и вот мальчик опять отправился к нему в гости.

Резные трубачи затрубили: «Ту-ру-ру! Мальчик идет! Ту-ру-ру!» Рыцари на портретах забряцали мечами и доспехами, дамы зашелестели платьями: свиная кожа заговорила, а старые кресла закрипели и захряхтели от ревматизма в пояснице: «Ох!» Словом, все было как в первый раз, потому что часы и дни в старом доме шли один как другой, без всякой перемены.

— Я не выдержу! — сказал оловянный солдатик. — Я уже плакал оловом. Здесь чересчур тоскливо. Отправьте меня лучше на войну, пусть я лишусь рук и ног — все-таки перемена. Сил моих больше нет! Теперь я знаю, как это приходят старые воспоминания и приводят с собой знакомые лица! Меня они тоже посетили и, поверь, им не обрадуешься! Особенно если они зачествят. Под конец я чуть не спрыгнул с сундука. Я видел тебя и всех твоих, вы все стояли передо мной как живые. Было то самое воскресное утро, ты помнишь. Все вы, ребятишки, стояли в столовой и пели. Мать и отец стояли рядом. Вдруг дверь отворилась, и вошла ваша двухгодовалая сестренка Мария. А ей стоит только услышать музыку или пение — все равно какое, — сейчас же в пляс. Вот она и давай танцевать, только никак в такт не попадет — вы пели так протяжно. А она вытянет шейку и то одну ножку поднимет, то другую — нет, все не ладится! Я не удержался, засмеялся про себя да и кувырк со стола! Набил себе шишку, до сих пор не прошла, и поделом мне. И еще много чего вспоминается мне. Все, что я видел, слышал и пережил у вас дома, стоит у меня перед глазами. Так вот, оказывается, какие они, эти воспоминания, вот что они приводят с собой... Скажи, вы по-прежнему поете по воскресеньям? Расскажи мне что-нибудь про малютку Марию! И еще — как поживает мой товарищ, второй оловянный солдатик? Вот счастливцев! Нет, нет, я просто не выдержу!

— Я тебя подарил! — сказал мальчик. — И ты должен оставаться тут! Как ты этого не понимаешь!

Вошел старичок со шкатулкой, доверху набитой разными занятными вещами: баночками для белил и притинок, старинными картами — таких больших, расписанных золотом, теперь уж не увидишь. Старичок отпер для гостя и большие ящики старинного бюро, открыл клавикорды, на крышке которых внутри был нарисован ландшафт. Инструмент издавал тихие дребезжащие звуки, а сам хозяин напевал при этом какую-то песню.

— Это она певала когда-то! — сказал старичок, кивнув на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели.

— Хочу на войну! Хочу на войну! — во все горло закричал оловянный солдатик и бросился с сундука на пол.

Куда же он девался? Искал его и сам старичок хозяин, искал и мальчик — нет нигде, да и только!

— Ну, я найду его после! — сказал старичок, но так и не нашел. Пол был весь в щелях, солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле.

День прошел, и мальчик вернулся домой, и прошла неделя, а за ней и еще несколько недель. Окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на стекло, чтобы оттаял глазок и можно было взглянуть на старый дом. Снег запорошил все завитушки и надпись на балке, завалил лестницу — дом стоял словно нежилой. Так оно и было: старичок, хозяин его, умер.

Вечером к старому дому подъехала повозка, на нее поставили гроб и повезли старичка за город — его должны были похоронить в фамильном склепе. Никто не шел за гробом — все друзья старика давным-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй.

Несколько дней спустя в старом доме назначен был аукцион. Мальчик видел из окна, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с ослиными ушами, старинные стулья и шкафы.

Все это разошлось что куда. Портрет дамы, купленный в лавке старьевщика, вернулся туда же да так там и остался — никто ведь не знал этой дамы, никому не нужен был ее портрет.

А весной снесли и сам старый дом — эту развалюху, как говорили люди. С улицы можно было видеть комнату, обитую свиной кожей, которая была порвана и свисала клочьями. Зеленая терраса густо обвивала падающие балки. А потом место это расчистили совсем.

— Вот и отлично! — сказали соседние дома.
Вместо старого дома появился новый, с большими окнами и ровными белыми стенами. Перед ним, там, где стоял старый дом, разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Перед садиком поставили железную решетку с железной калиткой. Все это выглядело так красиво, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Воробьи стайками осаживались на виноградные лозы и чирикали напере-

бой, да только не о старом доме — они ведь не могли его помнить. С тех пор прошло столько лет, что мальчик успел стать мужчиной — дельным мужчиной на радость своим родителям. Он только что женился и переехал со своей молодой женой в этот новый дом. И вот он стоял в садике и глядел, как его жена сажала в клумбу приглянувшийся ей полевой цветок. Посадив цветок, она хотела примять землю пальцами и вскрикнула:

— Ой! Что это?

Она укололась — из рыхлой земли торчало что-то острое.

Это был — представьте себе! — оловянный солдатик, тот самый, что пропал у старика, завалился-затерялся в мусоре и много лет пролежал в земле.

Молодая женщина обтерла солдатика сначала зеленым листом, а затем своим тонким носовым платком. Какой чудесный аромат исходил от него! Оловянный солдатик словно от обморока очнулся.

— Дай-ка взглянуть! — сказал молодой человек, смеясь и качая головой. — Это, конечно, не тот самый, но он напоминает мне историю с оловянным солдатиком, когда я был еще маленьким.

И он рассказал своей жене о старом доме, его хозяине и оловянном солдатике, которого послал старику, потому что тот был ужасно одинок, и рассказывал он так точно и живо, что у молодой женщины навернулись на глаза слезы.

— А может, это все же тот самый? — сказала она. — Спрячу его на память об этой истории. А ты непременно покажи мне могилу старика!

— Я не знаю, где она! — отвечал он. — Да и никто не знает! Все его друзья умерли раньше его, никому не было до него дела, а я тогда был еще совсем маленьким.

— Как ужасно быть таким одиноким! — сказала она.

— Ужасно! — откликнулся оловянный солдатик. — Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли!

— Счастье! — повторил чей-то голос совсем рядом, но никто не расслышал его, кроме оловянного солдатика.

А был это лоскуток свиной кожи, которой когда-то была обита комната старого дома. Позолота с него вся сошла, и он был похож скорее на сырую землю, но у него был свой взгляд на вещи, и он его высказал:

— Позолота сотрется, свиная кожа остается.

Только оловянный солдатик с этим не согласился.

Старый уличный фонарь

Слыхали вы историю про старый уличный фонарь? Она не то чтобы так уж занята, но послушать ее разок не мешает.

Так вот, жил-был этакий почтенный старый уличный фонарь; он честно служил много-много лет и наконец должен был выйти в отставку.

Последний вечер висел фонарь на своем столбе, освещая улицу, и на душе у него было как у старой балерины, которая в последний раз выступает на сцене и знает, что завтра будет всеми забыта в своей каморке.

Завтрашний день страшил старого служаку: он должен был впервые явиться в ратушу и предстать перед «тридцатью шестью отцами города», которые решат, годен он еще к службе или нет. Возможно, его еще отправят освещать какой-нибудь мост или пошлют в провинцию на какую-нибудь фабрику, а возможно, просто сдадут в переплавку, и тогда из него может получиться что угодно. И вот его мучила мысль: сохранит ли он воспоминание о том, что был когда-то уличным фонарем. Так или иначе, он знал, что ему в любом случае придется расстаться с ночным сторожем и его женой, которые стали для него все равно что родная семья. Оба они — и фонарь и сторож — поступили на службу одновременно. Жена сторожа тогда высоко метила и, проходя мимо фонаря, устаивала его взглядом только по вечерам, а днем никогда. В последние же годы, когда все трое — и сторож, и его жена, и фонарь — состарились, она тоже стала ухаживать

за фонарем, чистить лампу и наливать в нее ворвань. Честные люди были эти старики, ни разу не обделили фонарь ни на капельку.

Итак, светил он на улице последний вечер, а поутру должен был отправиться в ратушу. Мрачные эти мысли не давали ему покоя, и не мудрено, что и горел он неважно. Впрочем, мелькали у него и другие мысли: он многое видел, на многое довелось ему пролить свет, быть может, он не уступал в этом всем «тридцати шести отцам города». Но он молчал и об этом. Он ведь был почтенный старый фонарь и не хотел никого обижать, а уж свое начальство тем более.

А между тем многое вспоминалось ему, и время от времени пламя его вспыхивало как бы от таких примерно мыслей: «Да, и обо мне кто-нибудь вспомнит! Вот хоть бы тот красивый юноша... Много лет прошло с тех пор. Он подошел ко мне с письмом в руках. Письмо было на розовой бумаге, тонкой-претонкой, с золотым обрезом, и написано изящным женским почерком. Он прочел его дважды, поцеловал и поднял на меня сияющие глаза. «Я самый счастливый человек на свете!» — говорили они. Да, только он да я знали, что написала в своем первом письме его любящая.

Помню я и другие глаза... Удивительно, как перескакивают мысли! По нашей улице двигалась пышная похоронная процессия. На обитой бархатом повозке везли в гробу молодую прекрасную женщину. Сколько было венков и цветов! А факелов горело столько, что они совсем затмили мой свет. Тротуары были заполнены людьми, провожавшими гроб. Но когда факелы скрылись из виду, я огляделся и увидел человека, который стоял у моего столба и плакал. Никогда мне не забыть взгляда его скорбных глаз, смотревших на меня!»

И много о чем еще вспоминал старый уличный фонарь в этот последний вечер. Часовой, сменяющийся с поста, тот хоть знает, кто заступит его место, и может перекинуться со своим товарищем несколькими словами. А фонарь не знал, кто придет ему на смену, и не мог рассказать ни о дожде и непогоде, ни о том, как месяц освещает тротуар и с какой стороны дует ветер.

В это-то время на мостик через водосточную канаву и явились три кандидата на освобождающееся место, полагавшие, что назначение на должность зависит от самого фонаря. Первым была селедочная головка, светящаяся в темноте; она полагала, что ее появление на столбе значительно сократит расход ворвани. Вторым была гнилушка, которая тоже светилась и, по ее словам, даже ярче, чем вяленая треска; к тому же она считала себя последним остатком всего леса. Третьим кандидатом был светлячок; откуда он явился, фонарь никак не мог взять в толк, но тем не менее светлячок был тут и тоже светился, хотя селедочная головка и гнилушка клятвенно уверяли, что он светит только временами, а потому не в счет.

Старый фонарь сказал, что ни один из них не светит настоль-

ко ярко, чтобы служить уличным фонарем, но ему, конечно, не поверили. А узнав, что назначение на должность зависит вовсе не от него, все трое выразили глубокое удовлетворение — он ведь слишком стар, чтобы сделать верный выбор.

В это время из-за угла налетел ветер и шепнул фонарю под колпак:

— Что такое? Говорят, ты уходишь завтра в отставку? И я вижу тебя здесь в последний раз? Ну, так вот тебе от меня подарок. Я проветрю твою черепную коробку, и ты будешь не только ясно и отчетливо помнить все, что видел и слышал сам, но и видеть как наяву все, что будут рассказывать или читать при тебе. Вот какая у тебя будет свежая голова!

— Не знаю, как тебя и благодарить! — сказал старый фонарь. — Лишь бы не попасть в переделку!

— До этого еще далеко, — отвечал ветер. — Ну, сейчас я проветрю твою память. Если б ты получил много таких подарков, у тебя была бы приятная старость.

— Лишь бы не попасть в переделку! — повторил фонарь. — Или, может, ты и в этом случае сохранишь мне память?

— Будь же благодарен, старый фонарь! — сказал ветер и дунул.

В эту минуту выглянул месяц.

— А вы что подарите? — спросил ветер.

— Ничего, — ответил месяц. — Я ведь на ущербе, к тому же фонари никогда не светят за меня, всегда я за них.

И месяц опять спрятался за тучи — он не хотел, чтобы ему надоедали.

Вдруг на железный колпак фонаря капнула капля. Казалось, она скатилась с крыши, но капля сказала, что упала из серых туч, и тоже — как подарок, пожалуй, даже самый лучший.

— Я проточу тебя, — сказала капля, — так что ты получишь способность в любую ночь, когда только пожелаешь, обратиться в ржавчину и рассыпаться прахом.

Фонарю этот подарок показался плохим, ветру — тоже.

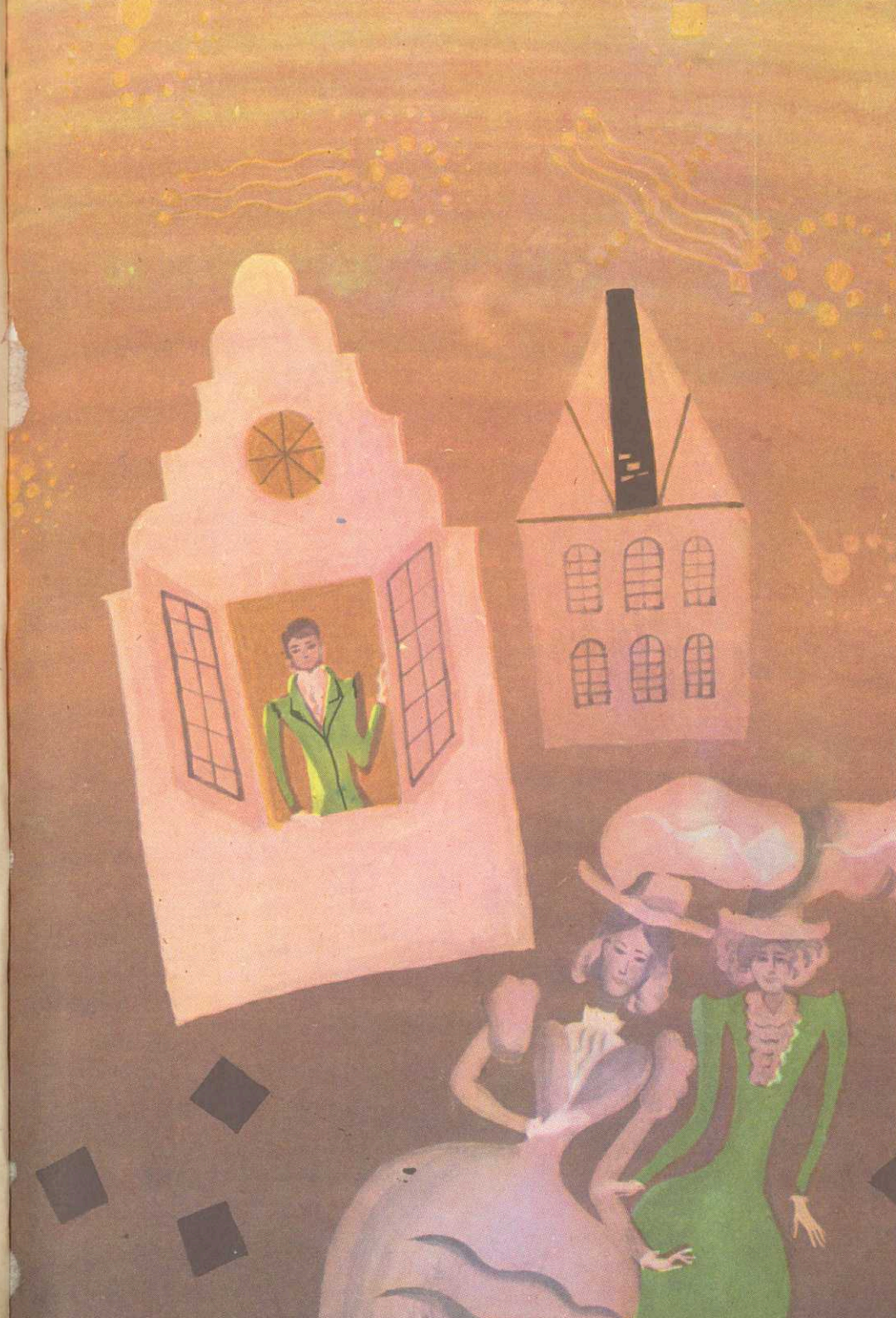
— Кто даст больше? Кто даст больше? — зашумел он что было сил.

И в эту же минуту с неба скатилась звезда, оставив за собой длинный светящийся след.

— Что это? — вскрикнула селедочная головка. — Никак, звезда с неба упала? И кажется, прямо на фонарь. Ну, если этой должности домогаются столь высокопоставленные особы, нам остается только откланяться и убраться восвояси.

Так все трое и сделали. А старый фонарь вдруг вспыхнул особенно ярко.

— Вот это чудесный подарок! — сказал он. — Я всегда так любовался ясными звездами, их дивным светом! Сам я никогда не мог светить, как они, хотя стремился к этому всем сердцем. И вот они заметили меня, жалкий старый фонарь, и послали мне в подарок одну из своих сестриц. Они одарили меня способно-





стью показывать тем, кого я люблю, все, что я помню и вижу сам. Вот это поистине удовольствие! А то и радость не в радость, если нельзя поделиться ею с другими.

— Почтенная мысль, — сказал ветер. — Но ты, верно, не знаешь, что к этому дару полагается восковая свеча. Ты никому ничего не сможешь показать, если в тебе не будет гореть восковая свеча. Вот о чем не подумали звезды. И тебя, и все то, что светится, они принимают за восковые свечи. Ну, а теперь я устал, пора улечься, — сказал ветер и улегся.

На другое утро... нет, через день мы лучше перескачем — на следующий вечер фонарь лежал в кресле, и у кого же? У старого ночного сторожа. За свою долгую верную службу старик попросил у «тридцати шести отцов города» старый уличный фонарь. Те посмеялись над ним, но фонарь отдали. И вот теперь фонарь лежал в кресле возле теплой печи, и казалось, будто вырос от этого — он занимал чуть ли не все кресло. Старички уже сидели за ужином и ласково поглядывали на старый фонарь.

Правда, жили они в подвале, на несколько локтей под землей, и чтобы попасть в их каморку, надо было пройти через вымощенную кирпичом прихожую, зато в самой каморке было тепло и уютно. Двери были обиты по краям войлоком, кровать пряталась за пологом, на окнах висели занавески, а на подоконниках стояли два диковинных цветочных горшка. Их привез матрос Христиан не то из Ост-Индии, не то из Вест-Индии. Это были глиняные слоны с углублением на месте спины, в которое насыпалась земля. В одном слоне рос чудесный лук-порей — это был огород старичков, в другом пышно цвела герань — это был их сад. На стене висела большая масляная картина, изображающая Венский конгресс, на котором присутствовали разом все императоры и короли. Старинные часы с тяжелыми свинцовыми гирями тикали без умолку и вечно убегали вперед, но это было лучше, чем если бы они отставали, говорили старички.

Итак, сейчас они ужинали, а старый уличный фонарь лежал, как сказано выше, в кресле возле теплой печки, и ему казалось, будто весь мир перевернулся вверх дном. Но вот старик сторож взглянул на него и стал припоминать все, что им довелось пережить вместе в дождь и в непогоду, в ясные, короткие летние ночи и в снежные метели, когда так и тянет в подвальчик, — и старый фонарь словно очнулся и увидел все это наяву.

Да, славно его проветрил ветер!

Старички были люди работающие и любознательные, ни один час не пропадал у них зря. По воскресеньям после обеда на столе появлялась какая-нибудь книга, чаще всего описание путешествия, и старик читал вслух про Африку, про ее огромные леса и диких слонов, которые бродят на воле. Старушка слушала и поглядывала на глиняных слонов, служивших цветочными горшками.

— Воображаю! — приговаривала она.

А фонарю так хотелось, чтобы в нем горела восковая свеча, —

тогда старушка, как и он сам, наяву увидела бы все: и высокие деревья с переплетающимися густыми ветвями, и голых черных людей на лошадях, и целые стада слонов, утаптывающих толстыми ногами тростник и кустарник.

— Что проку в моих способностях, если нет восковой свечи? — вздыхал фонарь. — У стариков только ворвань да сальные свечи, а этого мало.

Но вот в подвале оказалась целая куча восковых огарков. Длинные шли на освещение, а короткими старушка вощила нить, когда шила. Восковые свечи теперь у стариков были, но им и в голову не приходило вставить хоть один огарок в фонарь.

— Ну, вот и стою я тут со всеми моими редкими способностями, — говорил фонарь. — Внутри у меня целое богатство, а я не могу им поделиться! Ах, вы не знаете, что я могу превратить эти белые стены в чудесную обивку, в густые леса, во все, чего вы пожелаете!.. Ах, вы не знаете!

Фонарь, вычищенный и опрятный, стоял в углу, на самом видном месте. Люди называли его старым хламом, но старики пропускали такие слова мимо ушей — они любили старый фонарь.

Однажды, в день рождения старого сторожа, старушка подошла к фонарю, улыбнулась и сказала:

— Сейчас мы зажжем в его честь иллюминацию!

Фонарь так и задребезжал колпаком от радости.

«Наконец-то их осенило!» — подумал он.

Но досталась ему опять ворвань, а не восковая свеча. Он горел весь вечер и знал теперь, что дар звезд — чудеснейший дар — так и не пригодится ему в этой жизни.

И вот пригрезилось фонарю — с такими способностями не мудро и грезить, — будто старики умерли, а сам он попал в переплавку. И страшно ему, как в тот раз, когда предстояло явиться в ратушу на смотр к «тридцати шести отцам города». И хотя он обладает способностью по своему желанию рассыпаться ржавчиной и прахом, он этого не сделал, а попал в плавильную печь и превратился в чудесный подсвечник в виде ангела с букетом в руке. В букет вставили восковую свечу, и подсвечник занял свое место на зеленом сукне письменного стола. Комната очень уютна; все полки заставлены книгами, стены увешаны великолепными картинами. Здесь живет поэт, и все, о чем он думает и пишет, разворачивается перед ним, как в панораме. Комната становится то дремучим темным лесом, то озаренными солнцем лугами, по которым расхаживает аист, то палубой корабля, плывущего по бурному морю...

— Ах, какие способности скрыты во мне! — сказал старый фонарь, очнувшись от грез. — Право, мне даже хочется попасть в переплавку. Впрочем, нет! Пока живы старички — не надо. Они любят меня таким, какой я есть, я для них все равно что сын родной. Они чистят меня, заливают ворванью, и мне здесь не хуже, чем всем этим высокопоставленным особам на конгрессе.

С тех пор старый уличный фонарь обрел душевное спокойствие — и он его заслужил.



(Рождественская сказка)

В лесу, высоко на круче, на открытом берегу моря стоял старый-престарый дуб, и было ему ровно триста шестьдесят пять лет — срок немалый, ну, а для дерева это все равно, что для нас, людей, столько же суток. Мы бодрствуем днем, спим и видим сны ночью. С деревом дело обстоит иначе: дерево бодрствует три времени года и засыпает только к зиме. Зима — время его сна, его ночь после долгого дня — весны, лета и осени.

В теплые летние дни вокруг его кроны плясали мухи-поденки; они жили, порхали и были счастливы, а когда одно из этих крошечных созданий в тихом блаженстве опускалось отдохнуть на большой свежий лист, дуб всякий раз говорил:

— Бедняжка! Вся твоя жизнь — один-единственный день! Такая короткая... Как печально!

— Печально? — ответила поденка. — О чем это ты? Кругом так светло, тепло и чудесно! Я так рада!

— Да ведь всего один день — и конец!

— Конец? — говорила поденка. — Чему конец? И тебе тоже?

— Нет, я-то, может, проживу тысячи твоих дней, мой день тянется целые времена года! Ты даже и сосчитать не можешь, как это долго!

— Нет, не понимаю я тебя! У тебя тысячи моих дней, а у меня тысячи мгновений, и в каждом радость и счастье! Ну, а разве с твоей смертью умрет и вся краса мира?

— Нет, — отвечал дуб. — Мир будет существовать куда дольше, бесконечно, я и представить себе не могу, как долго!

— Так, значит, нам с тобой дано поровну, только считаем мы по-разному!

И поденка плясала и кружилась в воздухе, радовалась своим нежным, изящным, прозрачно-бархатистым крылышкам, радовалась теплему воздуху, напоенному запахом клевера, шиповника, бузины и жимолости. А как пахли ясенник, примулы и мята! Воздух был такой душистый, что впору было захмелеть от него. Что за долгий и чудный был день, полный радости и сладостных ощущений! А когда солнце садилось, мушка чувствовала такую приятную усталость, крылья отказывались ее носить, она тихо опускалась на мягкую колеблющуюся былинку, сникала головой и сладко засыпала. Это была смерть.

— Бедняжки! — говорил дуб. — Уж слишком короткая у них жизнь!

И каждый летний день повторялась та же пляска, тот же разговор, ответ и засыпание; так повторялось с целыми поколениями поденок, и все они были одинаково веселы, одинаково счастливы.

Дуб бодрствовал свое утро — весну, свой полдень — лето и свой вечер — осень, наступала пора засыпать и ему, приближалась его ночь — зима.

Вот запели бури:

«Покойной ночи! Покойной ночи! Тут лист упал, там лист упал! Мы их обрываем, мы их обрываем! Постарайся заснуть! Мы тебя убаюкаем, мы тебя укачаем! Не правда ли, как хорошо твоим старым ветвям? Их так и ломит от удовольствия! Спи сладко, спи сладко! Это твоя триста шестьдесят пятая ночь, ведь ты еще все равно что годовалый малыш! Спи сладко! Облака сыплют снег, он ляжет простыней, мягким покрывалом вокруг твоих ног! Спи сладко, приятных тебе снов!»

И дуб сбросил с себя листву, собравшись на покой, готовясь уснуть, провести в грезах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди.

Он тоже был когда-то маленьким, и колыбелью ему был желудь. По человеческому счету он был теперь на сороковом десятке. Больше, великолепнее его не было дерева в лесу. Вершина его высоко возносилась над всеми деревьями и была видна с моря издали, служила приметой для моряков. А дуб и не знал о том, сколько глаз искало его. В его зеленой кроне гнездились лесные голуби, куковала кукушка, а осенью, когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались перелетные птицы, отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но сейчас, зимой, дуб стоял без листьев, и видно было, какие у него изгибистые, узловатые сучья; вороны и галки по очереди садились

на них и говорили о том, какая тяжелая настала пора, как трудно будет зимой добывать прокорм.

В ночь под рождество дубу приснился самый чудный сон его жизни. Послушаем же!

Он как будто чувствовал, что время настало праздничное, ему слышался вокруг звон колоколов, грезился теплый тихий летний день. Он широко распахнул свою могучую зеленую крону; между его ветвями и листьями играли солнечные лучи, воздух был напоен ароматом трав и кустов; пестрые бабочки гонялись друг за другом; мухи-поденки плясали, как будто все только и существовало для их пляски и веселья. Все, что из года в год переживал и видел вокруг себя дуб, проходило теперь перед ним словно в праздничном шествии. Ему виделись конные рыцари и дамы прошлых времен, с перьями на шляпах и соколами на руке. Они проезжали через лес, трубил охотничий рог, лаяли собаки. Ему виделись вражеские солдаты в блестящих латах и пестрых одеждах, с пиками и алебардами; они разбивали палатки, и затем снимали их. Пылали бивачные костры, люди пели и спали под широко раскинувшимися ветвями дуба. Ему виделись счастливые влюбленные, они встречались здесь в лунном свете и вырезали первую букву своих имен на его иссера-зеленой коре. Веселые странствующие подмастерья, бывало, — с тех пор прошло много, много лет — развешивали на его ветвях цитры и эоловы арфы, и теперь они висели опять и звучали опять так призывно. Лесные голуби ворковали, словно хотели рассказать, что чувствовало при этом дерево, кукушка куковала, сколько летних дней ему еще осталось жить.

И вот словно новый поток жизни заструился в нем от самых маленьких корешков до самых высоких ветвей и листьев. И чудилось ему, что он потягивается, чужаясь жизнь и тепло в корнях там, под землей, чужаясь, как прибывают силы. Он рос все выше и выше, ствол быстро, безостановочно тянулся высь, крона становилась все гуще, все пышнее, все раскистее. И чем больше выросло дерево, тем больше росла в нем радостная жажда вырасти еще выше, подняться к самому солнцу, сверкающему и горячему.

Вершина дуба уже поднялась над облаками, которые неслись внизу, как стаи перелетных птиц или белых лебедей.

Дуб видел каждым листком своим, словно у каждого были глаза. Он видел и звезды среди дня, и были они такие большие, блестящие! Каждая светила, словно пара ясных, кротких очей, напоминая о других знакомых глазах — глазах детей и влюбленных, которые встречались под его кроной.

Дуб переживал чудные, блаженные мгновения. И все-таки ему недоставало его лесных друзей... Ему так хотелось, чтобы и все другие деревья, все кусты, травы, и цветы поднялись вместе с ним, ощутили ту же радость, увидели тот же блеск, что и он. Могучий дуб даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив: ему хотелось разделить свое счастье со всеми — и ма-

лыми и большими, и чувство это трепетало в каждой его ветке, каждом листке странно и горячо, словно в человеческой груди.

Крона дуба шевелилась, словно искала чего-то, словно ей чего-то недоставало; он поглядел вниз и вдруг услышал запах ясенника, а потом и еще более сильный запах жимолости и фиалок, и ему показалось даже, что он слышит кукушку.

И вот сквозь облака проглянули зеленые верхушки леса. Дуб увидал под собой другие деревья, они тоже росли и тянулись вверх; кусты и травы тоже. Некоторые даже вырывались из земли с корнями, чтобы лететь быстрее. Впереди всех была береза; словно белая молния, устремлялся вверх ее стройный ствол, ветви развевались, как зеленые покрывала и знамена. Все лесные растения, даже коричневые султаны тростника, поднимались к облакам; птицы с песнями летели за ними, а на былинке, зыбившейся на ветру, как длинная зеленая лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком на своей тонкой ножке. Гудели майские жуки, жужжали пчелы, заливались во все горло птицы; все в поднебесье пело и ликовало.

«А где же красный водяной цветок? Пусть и он будет с нами! — сказал дуб. — И голубой колокольчик, и малютка маргаритка!»

Дуб всех хотел видеть возле себя.

«Мы тут, мы тут!» — раздалось со всех сторон.

«А красивый прошлогодний ясенник? А ковер ландышей, что расстилался здесь год назад? А чудесная дикая яблонька и все те, кто украшал лес много, много лет? Если б они дожили до этого мгновенья, они были бы с нами!»

«Мы тут, мы тут!» — раздалось в вышине, будто отвечавшие пролетели как раз над ним.

«Нет, до чего же хорошо, просто не верится! — ликовал старый дуб. — Они все тут со мной, и малые и большие! Ни один не забыт! Возможно ли такое счастье?»

«Все возможно!» — прозвучало в ответ.

И старый дуб, не перестававший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется от земли.

«Ничего не может быть лучше! — сказал он. — Теперь меня не удерживают никакие узы! Я могу взлететь к самому источнику света и блеска! И все мои дорогие друзья со мною! И малые и большие — все!»

«Все!»

Вот что снилось старому дубу. И пока он грезил, над землей и морем бушевала страшная буря — это было в рождественскую ночь. Море накатывало на берег тяжелые валы, дуб скрипел и трещал и был вырван с корнями в ту самую минуту, когда ему снилось, что он отделяется от земли. Дуб рухнул... Триста шестьдесят пять лет его жизни стали теперь как один день для мухи-поденки.

В рождественское утро, когда взошло солнце, буря утихла. Празднично звонили колокола, изо всех труб, даже из трубы са-

мой бедной хижины, вился голубой дымок, словно жертвенный фимиам в праздник друидов. Море все более успокаивалось, и на большом корабле, выдержавшем ночную бурю, подняли нарядные рождественские флаги.

— А дерева-то нет больше! Ночная буря сокрушила старый дуб, нашу приметку на берегу! — сказали моряки. — Кто нам его заменит? Никто!

Вот какую надгробную речь, краткую, но сказанную от чистого сердца, почтили моряки старый дуб, поверженный бурей на снежный покров. Донеслась до дуба и старинная песнь, пропетая моряками. Они пели о рождестве, и звуки песни возносились высоко-высоко к небу, как возносился к нему в своем последнем сне старый дуб.



Ряблячья Болтовня

У богатого купца был детский вечер; приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично; сам он был человек образованный, даже в свое время окончил гимназию. Дети болтали без умолку — у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто «ужасно важное».

— Я камер-юнкерская дочка! — сказала она.

Она точно так же могла быть дочкой лавочника — от человека не зависит, кем он рождается. Но она рассказывала другим детям, что она «урожденная» такая-то, а кто не «урожденный», из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учишь сколько хочешь, но, если ты не «урожденная», толку не выйдет.

— А уж из тех, чье имя кончается на «сен», — прибавила она, — никогда ничего путного не выйдет. Тут уж упрись руками в бока да держись подальше от всех этих «сенов»!

И она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была премиленькая!

Но дочка купца обиделась: фамилия ее отца была Мадсен, стало быть, тоже оканчивалась на «сен», и вот она гордо закинула головку и сказала:

— Зато мой папа может купить леденцов на целых сто риксдалеров и разбросать их народу! А твой может?

— Ну, а мой папа, — сказала дочка писателя, — может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете! Все его боятся, говорит мама: ведь это он распоряжается газетой! — И девочка гордо закинула голову — ни дать ни взять принцесса крови!

А за полуотворенною дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку; мальчуган не смел войти в комнату: куда такому бедняку соваться к богатым и знатым детям! Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных, веселящихся детей в щелку; и уже одно это было для него огромным счастьем.

«Вот бы мне на их место!» — думалось ему. Он слышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было пасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша; у них не было средств даже выписать газету, а не то что самим издавать ее. Ну, а хуже всего было то, что фамилия его отца, а значит, и его собственная, как раз кончалась на «сен»! Из него никогда не выйдет ничего путного! Вот горе-то! Но родился он, казалось ему, не хуже других; иначе и быть не могло.

Вот какой был этот вечер!

Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми.

В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог называть этот дом своим? Скажете, это легко угадать? Нет, не легко! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него все-таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» — Торвальдсен. Великий скульптор Торвальдсен.

Ну, а другие дети? Дети кровной, денежной и умственной спеси, из них что вышло? Да, все они друг друга стоили, все они были дети как дети! Вышло из них одно хорошее: задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были так, ребячья болтовня!

Снежная королева

История первая

в которой рассказывается о зеркале и его осколках

Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем сейчас. Так вот, жил-был тролль, злой-презлой, сущий дьявол. Раз был он в особенно хорошем расположении духа: смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось дальше некуда, а все дурное и безобразное так и выпирало, делалось еще гаже. Прекраснейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами, или казалось, будто стоят они кверху ногами, а животы у них вовсе нет! Лица искажались так, что и не узнать, а если у кого была веснушка, то уж будьте покойны — она расплзлась и на нос и на губы. А если у человека являлась добрая мысль, она отражалась в зеркале такой ужимкой, что тролль так и покатывался со смеху, радуясь своей хитрой выдумке.

Ученики тролля — а у него была своя школа — рассказывали всем, что сотворилось чудо: теперь только, говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их истинном свете. Они бегали повсюду с зеркалом, и скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые не отразились бы в нем в искаженном виде.

Напоследок захотелось им добраться и до неба. Чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось зеркало, так что они еле удерживали его в руках. Но вот они взлетели совсем высоко, как вдруг зеркало до того перекорежило от гримас, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось на миллионы, миллиарды осколков, и оттого произошло еще больше бед. Некоторые осколки, с песчинку величиной, разлетаясь по белу свету, попадали людям в глаза, да так там и оставались. А человек с таким осколком в глазу начинал видеть все навыворот или замечать в каждой вещи только дурное — ведь каждый осколок сохранял свойство всего зеркала. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было страшнее всего: сердце делалось как кусок льда. Были среди осколков и большие — их вставили в оконные рамы, и уж в эти-то окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки, и худо было, если такие очки надевали для того, чтобы лучше видеть и правильно судить о вещах.

Злой тролль надрывался от смеха — так веселила его эта затея. А по свету летало еще много осколков. Послушаем же про них!

История вторая

Мальчик и девочка

В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, а потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, и садик у них был чуть больше цветочного горшка. Они не были братом и сестрой, но любили друг друга, как брат и сестра.

Родители их жили в каморках под крышей в двух соседних домах. Кровли домов сходились, и между ними тянулся водосточный желоб. Здесь-то и смотрели друг на друга чердачные окошки от каждого дома. Стоило лишь перешагнуть через желоб, и можно было попасть из одного окошка в другое.

У родителей было по большому деревянному ящику, в них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты — по одному в каждом ящике, пышно разросшиеся. Родителям пришлось в голову поставить эти ящики поперек желоба, так что от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Зелеными гирляндами спускался из ящиков горох, розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями. Родители позволяли мальчику и девочке ходить друг к другу в гости по крыше и сидеть на скамеечке под розами. Как чудесно им тут игралось!

А зимой эти радости кончались. Окна зачастую совсем замерзали, но дети нагревали на печи медные монеты, прикладыва-

ли их к замерзшим стеклам, и сейчас же оттаивало чудесное круглое отверстие, а в него выглядывал веселый, ласковый глазок — это смотрели, каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга, а зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а потом подняться на столько же вверх. На дворе перепархивал снежок.

— Это роятся белые пчелки! — говорила старая бабушка.

— А у них тоже есть королева? — спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть такая:

— Есть! — отвечала бабушка. — Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не присаживается на землю, вечно носится в черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки, вот оттого-то и покрываются они морозными узорами, словно цветами.

— Видели, видели! — говорили дети и верили, что все это сушая правда.

— А сюда Снежная королева не может войти? — спрашивала девочка.

— Пусть только попробует! — отвечал мальчик. — Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает.

Но бабушка погладила его по голове и завела разговор о другом.

Вечером, когда Кай был дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в оттаявший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительно сверкающего льда, и все же живая! Глаза ее сияли, как две ясных звезды, но не было в них ни теплоты, ни покоя. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Кай испугался и прыгнул со стула. А мимо окна промелькнуло что-то похуже на большую птицу.

На другой день было ясно и морозно, но потом настала оттепель, а там и весна пришла. Заблестало солнце, проглянула зелень, строили гнезда ласточки. Окна растворили, и дети опять могли сидеть в своем садике в водосточном желобе над всеми этажами.

Розы в то лето цвели пышно, как никогда. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы и радовались солнцу. Ах, какое чудесное стояло лето, как хорошо было под розовыми кустами, которым, казалось, цвести, и цвести, вечно!

Как-то раз Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками — зверями и птицами. На больших башенных часах пробило пять.

— Ай! — вскрикнул вдруг Кай. — Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!

Девочка обвила ручонкой его шею, он часто-часто моргал, но в глазу как будто ничего не было.

— Должно быть, выскочило, — сказал он.

Но это было не так. Это были как раз осколки того дьявольского зеркала, о котором мы говорили вначале.

Бедняжка Кай! Теперь его сердце должно было стать как кусок льда. Боль прошла, но осколки остались.

— О чем ты плачешь? — спросил он Герду. — Мне совсем не больно! Фу, какая ты некрасивая! — вдруг крикнул он. — Вон ту розу точит червь. А та совсем кривая. Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат.

И он пнул ящик ногою и сорвал обе розы.

— Кай, что ты делаешь! — закричала Герда, а он, видя ее испуг, сорвал еще одну розу и убежал от милой маленькой Герды в свое окно.

Принесет ли теперь ему Герда книжку с картинками, он скажет, что эти картинки хороши только для грудных ребят; расскажет ли что-нибудь старая бабушка — придерется к ее словам. А то дойдет даже до того, что начнет передразнивать ее походку, надевать ее очки, говорить ее голосом. Выходило очень похоже, и люди смеялись. Скоро Кай научился передразнивать и всех соседей. Он отлично умел выставлять напоказ все их странности и недостатки, и люди говорили:

— Удивительно способный мальчуган!

А причиной всему были осколки, что попали ему в глаза и в сердце. Потому-то он и передразнивал даже милую маленькую Герду, а ведь она любила его всем сердцем.

И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда шел снег, он явился с большим увеличительным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.

— Погляди в стекло, Герда, — сказал он.

Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Это было так красиво!

— Видишь, как хитро сделано! — сказал Кай. — Гораздо интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если б только они не таяли!

Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо: «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками!» — и убежал.

На площади каталось множество детей. Кто посмелее, привязывал свои санки к крестьянским саням и катился далеко-далеко. Это было куда как занятно. В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то укутанный в белую меховую шубу и в такой же шапке. Сани объехали вокруг площади два раза. Кай живо привязал к

ним свои санки и покати́л. Большие сани понеслись быстрее, затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и приветливо кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе все кивал ему, и он продолжал ехать за ним.

Вот они выбрались за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, и стало темно, хоть глаз выколи. Мальчик поспешно отпустил веревку, которою зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к ним и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал — никто не услышал его. Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробы, перескакивая через изгороди и каналы. Кай весь дрожал.

Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина — Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега. — Славно проехались! — сказала она. — Но ты совсем замерз — полезай ко мне в шубу!

Посадила она мальчика в сани, завернула в свою медвежью шубу. Кай словно в снежный сугроб опустился.

— Все еще мерзнешь? — спросила она и поцеловала его в лоб.

У! Поцелуй ее был холоднее льда, он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Каю показалось, что еще немного — и он умрет... Но только на минуту, а потом, напротив, ему стало так хорошо, что он даже совсем перестал зябнуть.

— Мои санки! Не забудь мои санки! — спохватился он.

Санки привязали на спину одной из белых кур, и она полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Каю еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.

— Больше не буду целовать тебя, — сказала она. — Не то задую до смерти.

Кай взглянул на нее. Как она была хороша! Лица умней и прелестней он не мог себе представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему.

Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что на самом-то деле он знает совсем мало.

В тот же миг Снежная королева взвилась с ним на черное облако. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни; они летели над лесами и озерами, над морями и сушей; студеные ветры дули под ними, выли волки, искрился снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь, а днем заснул у ног Снежной королевы.

А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он делся? Никто этого не знал, никто не мог дать ответ.

Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота.

Много было пролито по нему слез, горько и долго плакала Герда. Наконец решили, что Кай умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни.

Но вот настала весна, выглянуло солнце.

— Кай умер и больше не вернется! — сказала Герда.

— Не верю! — отвечал солнечный свет.

— Он умер и больше не вернется! — повторила она ласточкам.

— Не верим! — отвечали они.

Под конец и сама Герда перестала этому верить.

— Надену-ка я свои новые красные башмачки (Кай ни разу еще не видел их), — сказала она как-то утром, — да пойду спрошу про него у реки.

Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна-одинешенька за город, прямо к реке.

— Правда, что ты взяла моего названного братца? — спросила Герда. — Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты вернешь мне его!

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки — самое драгоценное, что у нее было, — и бросила в реку. Но они упали у самого берега, и волны сейчас же вынесли их обратно — река словно бы не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Каю. Девочка же подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана и от ее толчка отошла от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на берег, но пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже совсем отплыла и быстро неслась по течению.

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. Воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега и щебетали, словно желая ее утешить:

— Мы здесь! Мы здесь!

Лодку уносило все дальше. Герда сидела смирно, в одних чулках: красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее.

«Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда,

повеселела, встала на ноги и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами.

Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором ютился домик под соломенной крышей, с красными и синими стеклами в окошках. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. Герда закричала им — она приняла их за живых, — но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла старая-престарая старушка с клюкой, в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.

— Ах ты бедное дитячко! — сказала старушка. — И как это ты попала на такую большую быструю реку да забралась так далеко?

С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку клюкой, притянула к берегу и высадила Герду.

Герда была рада-радешенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась незнакомой старухи.

— Ну, пойдём, да расскажи мне, кто ты и как сюда попала, — сказала старушка.

Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла: «Гм! Гм!» Когда девочка кончила, она спросила старушку, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, верно, пройдет, так что горевать пока не о чем, пусть Герда лучше отведает вишен да полюбуется цветами, что растут в саду: они красивее, чем в любой книжке с картинками, и все умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик, и заперла дверь на ключ.

Окна были высоко от пола и все из разноцветных — красных, синих и желтых — стеклышек; от этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями, и Герда могла есть их сколько угодно. А пока она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и золотым сиянием окружали милое, приветливое, круглое, словно роза, личико девочки.

— Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку! — сказала старушка. — Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем!

И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше забывала Герда своего названного брата Кая — старушка умела колдовать. Только она была не злою колдуньей и колдовала лишь изредка, для своего удовольствия; теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась клюкой до всех розовых кустов, и те как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде этих роз вспомнит о своих, а там и о Кая да и убежит от нее.

Потом старушка повела Герду в цветник. Ах, какой аромат тут был, какая красота: самые разные цветы, и на каждое время года! Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постель с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились сны, какие видит разве королева в день своей свадьбы.

На другой день Герде опять позволили играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала теперь каждый цветок в саду, но как ни много их было, ей все же казалось, что какого-то недостает, только какого? И вот раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами, и самым красивым из них была роза — старушка забыла ее стереть, когда спровадила живые розы под землю. Вот что значит рассеянность!

— Как! Тут нет роз? — сказала Герда и сейчас же побежала в сад, искала их, искала, да так и не нашла.

Тогда девочка опустила на землю и заплакала. Теплые слезы падали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов, и как только они увлажнили землю, куст мгновенно вырос из нее, такой же цветущий, как прежде.

Обвила его ручонками Герда, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кая.

— Как же я замешкалась! — сказала девочка. — Мне ведь надо искать Кая!.. Вы не знаете, где он? — спросила она у роз. — Правда ли, что он умер и не вернется больше?

— Он не умер! — отвечали розы. — Мы ведь были под землей, где лежат все умершие, но Кая меж ними не было.

— Спасибо вам! — сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала: — Вы не знаете, где Кай?

Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о своей собственной сказке или истории. Много их наслушалась Герда, но ни один не сказал ни слова о Кая.

Тогда Герда пошла к одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве.

— Ты, маленькое ясное солнышко! — сказала ему Герда. — Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного брата?

Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы! И в этой песенке ни слова не говорилось о Кая!

— Был первый весенний день, солнце грело и так приветливо светило на маленький дворик. Лучи его скользили по белой стене соседнего дома, и возле самой стены проглянул первый желтый цветок, он сверкал на солнце, словно золотой. Во двор вышла посидеть старая бабушка. Вот пришла из гостей ее внучка, бед-

ная служанка, и поцеловала старушку. Поцелуй девушки дороже золота, — он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в сердце, золото и на небе в утренний час! Вот и все! — сказал одуванчик.

— Бедная моя бабушка! — вздохнула Герда. — Верно, она скучает обо мне и горюет, как горевала о Кая. Но я скоро вернусь и его приведу с собой. Нечего больше и спрашивать цветы — толку от них не добьешься, они знай твердят свое! — И она побежала в конец сада.

Дверь была заперта, но Герда так долго шатала ржавый засов, что он поддался, дверь отворилась, и девочка так, босоножкой, и пустилась бежать по дороге. Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею.

Наконец она устала, присела на камень и осмотрелась: лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень. Только в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно.

— Господи! Как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе! Тут не до отдыха! — сказала Герда и опять пустилась в путь.

Ах, как ныли ее бедные усталые ножки! Как холодно, сыро было вокруг! Длинные листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю; листья так и сыпались. Один только терновник стоял весь покрытый вяжущими, терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь мир!

История четвертая

Принц и принцесса

Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Долго смотрел он на девочку, кивая ей головою, и наконец молвил:

— Кар-кар! Здравствуй!

Выговаривать по-человечески чище он не мог, но он желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Что такое «одна-одинешенька», Герда знала очень хорошо, сама на себе испытала. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая.

Ворон задумчиво покачал головой и сказал:

— Может быть! Может быть!

— Как! Правда? — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона — так крепко она его расцеловала.

— Потихе, потихе! — сказал ворон. — Думаю, это был твой Кай. Но теперь он, верно, забыл тебя со своею принцессой!

— Разве он живет у принцессы? — спросила Герда.

— А вот послушай, — сказал ворон. — Только мне ужасно

трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-вороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше.

— Нет, этому меня не учили, — сказала Герда. — Как жалко!

— Ну ничего, — сказал ворон. — Расскажу, как сумею, хоть и плохо.

И он рассказал все, что знал.

— В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя! Прочла все газеты на свете и позабыла все, что в них прочла, — вот какая умница! Раз как-то сидит она на троне — а веселья-то в этом не так уж много, как люди говорят, — и напевает песенку: «Отчего бы мне не выйти замуж?» «А ведь и в самом деле!» — подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать такого человека, который бы умел отвечать, когда с ним говорят, а не такого, что умел бы только важничать, — это ведь так скучно! И вот барабанным боем созывают всех придворных дам, объявляют им волю принцессы. Уж так они все обрадовались! «Вот это нам нравится!» — говорят. — Мы и сами недавно об этом думали!» Все это истинная правда! — прибавил ворон. — У меня при дворе есть невеста — ручная ворона, от нее-то я и знаю все это.

На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой; того же, кто будет держать себя непринужденно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет в мужья. Да, да! — повторил ворон. — Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою. Народ валом повалил во дворец, пошла давка и толкотня, да все без проку ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорят отлично, а стоит им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию в серебре да лакеев в золоте и войти в огромные, залитые светом залы — их оторопь берет. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют за ней ее же слова, а ей вовсе не это было нужно. Ну, точно на них порчу напускали, опаивали дурманом! А выйдут за ворота — опять обретут дар слова. От самых ворот до дверей тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам там был и видел.

— Ну, а Кай-то, Кай? — спросила Герда. — Когда же он явился? И он пришел свататься?

— Постой! Постой! Вот мы дошли и до него! На третий день явился небольшой человечек, не в карете, не верхом, а просто пешком, и прямо во дворец. Глаза блестят, как твой, волосы длинные, вот только одет бедно.

— Это Кай! — обрадовалась Герда. — Я нашла его! — И она захлопала в ладоши.

— За спиной у него была котомка, — продолжал ворон.

— Нет, это, верно, были его санки! — сказала Герда. — Он ушел из дому с санками.

— Очень может быть! — сказал ворон. — Я не особенно вглядывался. Так вот, моя невеста рассказывала, как вошел он в дворцовые ворота и увидел гвардию в серебре, а по всей лестнице лакеев в золоте, ни капельки не смутился, только головой кивнул и сказал: «Скучненько, должно быть, стоять тут на лестнице, войду-ка я лучше в комнаты!» А все залы залиты светом. Тайные советники и их превосходительства расхаживают без сапог, золотые блюда разносят, — торжественнее некуда! Сапоги его страшно скрипят, а ему все ничем.

— Это, наверное, Кай! — воскликнула Герда. — Я знаю, он был в новых сапогах. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке.

— Да, они так и скрипели порядком, — продолжал ворон. — Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы со своими служанками и служанками служанок и кавалеры со слугами и слугами слуг, а у тех опять прислужники. Чем ближе кто-нибудь стоял к дверям, тем выше задира л нос. На прислужника слуги, прислуживающего слуге, и стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без дрожи — такой он был важный! — Вот страх-то! — сказала Герда. — А Кай все-таки женился на принцессе?

— Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он завел с принцессой беседу и говорил не хуже, чем я по-вороньи, — так, по крайней мере, сказала мне моя ручная невеста. Держался он очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже.

— Да-да, это Кай! — сказала Герда. — Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Ах, проводи же меня во дворец!

— Легко сказать, — отвечал ворон, — трудно сделать. Постой, я поговорю с моей невестой, она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девочек!

— Меня впустят! — сказала Герда. — Когда Кай услышит, что я тут, он сейчас же прибежит за мною.

— Подожди меня тут у решетки, — сказал ворон, тряхнул головой и улетел.

Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал:

— Кар, кар! Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов и вот этот хлеб. Она стащила его на кухне — там их много, а ты, верно, голодна!.. Ну, во дворец тебе не попасть: ты ведь босая — гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и где достать ключ.

И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, где один

за другим падали осенние листья, и когда огни во дворце погасли, ворон провел девочку в полуотворенную дверь.

О, как билось сердечко Герды от страха и нетерпения! Точно она собиралась сделать что-то дурное, а ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай! Да, да, он, верно, здесь! Герда так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, и как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние! Ах, она была просто вне себя от страха и радости!

Но вот они на площадке лестницы. На шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.

— Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, барышня! — сказала ручная ворона. — И ваша жизнь также очень трогательная! Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед. Мы пойдем прямою дорогой, тут мы никого не встретим.

— А мне кажется, за нами кто-то идет, — сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени: лошади с развевающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.

— Это сны! — сказала ручная ворона. — Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас, удобнее будет рассмотреть спящих.

Тут они вошли в первую залу, где стены были обиты розовым атласом, затканым цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой, так что было от чего прийти в замешательство. Наконец они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями: с середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. Это Кай! Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь; принц проснулся и повернул голову... Ах, это был не Кай!

Принц ходил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.

— Ах ты бедняжка! — сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гnevаются на них — только пусть они не делают этого впредь, и захотели даже наградить их.

— Хотите быть вольными птицами? — спросила принцесса. — Или желаете занять должность придворных ворон, на полном содержании из кухонных остатков?

Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе. Они подумали о старости и сказали:

— Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет!

Принц встал и уступил свою постель Герде — больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручки и подумала: «Как добры все люди и животные!» — закрыла глаза и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы, все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась.

На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце сколько она пожелает.

Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошастью и пару башмаков — она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного брата.

Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье, а когда она простилась со всеми, к воротам подъехала карета из чистого золота, с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы; у кучера, лакеев, форейторов — дали ей и форейторов — красовались на головах маленькие золотые короны.

Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути.

Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею — он не мог ехать, сидя спиной к лошадям. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями, с тех пор как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета была битком набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.

— Прощай! Прощай! — кричали принц и принцесса.

Герда заплакала, ворона — тоже. Через три мили простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание! Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая, как солнце, не скрылась из виду.

История пятая

Маленькая разбойница

Вот Герда въехала в темный лес, в котором жили разбойники; карета горела как жар, она резала разбойникам глаза, и они просто не могли этого вынести.

— Золото! Золото! — кричали они, схватив лошадей под уздцы, убили маленьких форейторов, кучера и слуг, и вытащили из кареты Герду.

— Ишь какая славенькая, жиренькая! Орешками откормлена! — сказала старуха разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми, нависшими бровями. — Жиренькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?

И она вытащила острый сверкающий нож. Какой ужас!

— Ай! — вскрикнула она вдруг: ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что просто любо. — Ах ты дрянная девчонка! — закричала мать, но убить Герду не успела.

— Она будет играть со мной, — сказала маленькая разбойница. — Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постели.

И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и закружилась на месте. Разбойники захохотали.

— Ишь, как пляшет со своей девчонкой!

— Хочу в карету! — закричала маленькая разбойница и настояла на своем — она была ужасно избалована и упряма.

Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и кочкам в чащу леса.

Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:

— Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты, верно, принцесса?

— Нет, — отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая.

Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула и сказала:

— Они тебя не убьют, даже если я и рассержусь на тебя, — я лучше сама убью тебя!

И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую мягкую теплую муфточку.

Вот карета остановилась: они въехали во двор разбойничьего замка.

Он был весь в огромных трещинах; из них вылетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили огромные бульдоги, казалось, каждому из них нипочем проглотить человека, но они только высоко подпрыгивали и даже не лаяли — это было запрещено. Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. Дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход. Над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.

— Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца, — сказала Герде маленькая разбойница.

Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердях больше сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились.

— Все мои! — сказала маленькая разбойница, схватила од-

ного голубя за ноги и так трянула его, что тот забил крыльями. — На, поцелуй его! — крикнула она, и ткнула голубя Герде прямо в лицо. — А вот тут сидят лесные плутишки, — продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене, за деревянной решеткой. — Эти двое, — лесные плутишки. Их надо держать взаперти, не то живо улетят! А вот и мой милый старичина бляшка! — И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. — Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет! Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом — он до смерти этого боится.

С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.

— Неужели ты и спишь с ножом? — спросила ее Герда.

— Всегда! — отвечала маленькая разбойница. — Мало ли что может случиться! Ну, расскажи мне еще раз о Кая и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету.

Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали; другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвила одною рукой шею Герды — в другой у нее был нож — и захрапела, но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых.

Вдруг лесные голуби проворковали:

— Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях Снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенцы, еще лежали в гнезде. Онадохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих. Курр! Курр!

— Что вы говорите! — воскликнула Герда. — Куда же полетела Снежная королева? Знаете?

— Наверно, в Лапландию — ведь там вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи.

— Да, там вечный снег и лед. Чудо как хорошо! — сказал северный олень. — Там прыгаешь себе на воле по огромным сверкающим равнинам. Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а постоянные ее чертоги — у Северного полюса, на острове Шпицберген.

— О Кай, мой милый Кай! — вздохнула Герда.

— Лежи смиренно, — сказала маленькая разбойница. — Не то пырну тебя ножом!

Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:

— Ну, так и быть!.. А ты знаешь, где Лапландия? — спросила она затем у северного оленя.

— Кому же и знать, как не мне! — отвечал олень, и глаза его заблестели. — Там я родился и вырос, там прыгал по снежным равнинам.

— Так, слушай, — сказала Герде маленькая разбойница. — Видишь, все наши ушли, дома одна мать; немного погодя она хлебнет из большой бутылки и вздремнет, тогда я кое-что сделаю для тебя.

И вот старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, а маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:

— Еще долго можно было бы потешаться над тобой! Уж больно ты уморительный, когда тебя щекочат острым ножом. Ну, да так и быть! Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Можешь бежать в свою Лапландию, но за это ты должен отвезти к дворцу Снежной королевы эту девочку — там ее названный брат. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила громко, а у тебя вечно ушки на макушке.

Северный олень так и подпрыгнул от радости. А маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее для верности и даже подсунула под нее мягкую подушку, чтобы ей удобнее было сидеть.

— Так и быть, — сказала она затем, — возьми назад свои меховые сапожки, — ведь холодно будет! А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша. Но мерзнуть я тебе не дам: вот огромные рукавицы моей матери, они дойдут тебе до самых локтей. Сунь в них руки! Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей уродины матери.

Герда плакала от радости.

— Терпеть не могу, когда хнычут! — сказала маленькая разбойница. — Теперь ты должна радоваться. Вот тебе еще два хлеба и окорок, чтобы не пришлось голодать.

И то и другое было привязано к оленю.

Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собаку в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которою был привязан олень, и сказала ему:

— Ну, живо! Да береги смотри девочку.

Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и чокки по лесу, по болотам и степям. Были волки, каркали вороны.

Уф! Уф! — послышалось вдруг с неба, и оно словно зачихало огнем.

— Вот мое родное северное сияние! — сказал олень. — Гляди, как горит.

И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот они очутились в Лапландии.

История шестая

Лапландка и финка

Олень остановился у жалкой лачуги. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках.

Дома была одна старуха лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную — она казалась ему гораздо важнее.

Герда же так ооченела от холода, что и говорить не могла.

— Ах вы бедняги! — сказала лапландка. — Долгий же вам еще предстоит путь! Придется сделать сто с лишним миль, пока доберетесь до Финляндии, где Снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске — бумаги у меня нет, — и вы снесете послание финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать.

Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала несколько слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался.

— Уф! ф! — слышалось опять с неба, и оно стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финляндии и постучался в дымовую трубу финки — у нее и дверей-то не было.

Ну и жара стояла в ее жилье! Сама финка, низенькая толстая женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы жарко, положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске.

Она прочла все от слова до слова три раза, пока не заучила наизусть, а потом сунула треску в когел — рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало.

Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазами, но не говорила ни слова.

— Ты такая мудрая женщина... — сказал олень. — Не изговоришь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она одолела Снежную королеву!

— Силу двенадцати богатырей! — сказала финка. — Да много ли в том проку!

С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его: он был весь исписан какими-то удивительными письменами.

Финка принялась читать их и читала до того, что пот градом покатился с ее лба.

Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула:

— Кай в самом деле у Снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе Снежная королева сохранит над ним свою власть.

— А не можешь ли ты дать Герде что-нибудь такое, что делает ее сильнее всех?

— Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди и звери? Ведь она босая обошла полсвета! Не у нас занимать ей силу, ее сила в ее сердце, в том, что она невинный милый ребенок. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколок, то мы и подавно ей не поможем! В двух милях отсюда начинается сад Снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, обсыпанного красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно.

С этими словами финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.

— Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц! — закричала Герда, очутившись на морозе.

Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в губы, и по щекам его покатались крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад.

Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц.

Она побежала вперед что было мочи. Навстречу ей несли целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба — небо было совсем ясное, и в нем полыхало северное сияние, — нет, они бежали по земле прямо на Герду и становились все крупнее и крупнее.

Герда вспомнила большие красивые хлопья под увеличительным стеклом, но эти были куда больше, страшнее и все живые.

Это были передовые дозорные войска Снежной королевы.

Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоголовых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями.

Однако Герда смело шла все вперед и вперед и наконец добралась до чертогов Снежной королевы.

Посмотрим же, что было в это время с Каем. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она так близко от него.

Стенами чертогов были вьюги, окнами и дверями буйные ветры. Сто с лишним зал тянулись здесь одна за другой так, как наметала их вьюга. Все они освещались северным сиянием, и самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах! Веселье никогда и не заглядывало сюда. Никогда не устраивались здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури, на которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи; никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракою, не сходились на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички.

Холодно, пустынно, грандиозно! Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет усилится, в какую померкнет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела Снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете.

Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого — поцелуи Снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его было все равно что кусок льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра — складывание фигур из деревянных дощечек, — которая называется китайской головоломкой. Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, только из льдин, и это называлось ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала.

Складывал он и такие фигуры, из которых получались целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, — слово «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить.

— Теперь я полечу в теплые края, — сказала Снежная королева. — Загляну в черные котлы.

Так она называла кратеры огнедышащих гор — Этны и Везувия.

— Побелю их немножко. Это хорошо для лимонов и винограда.

Она улетела, и Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он совсем замерз.

В это-то время в огромные ворота, которыми были буйные ветры, входила Герда. И перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:

— Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!

Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда заплакала; горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили ледяную кору, растопили осколок. Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался:

— Герда! Милая Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам? — И он оглянулся вокруг. — Как здесь холодно, пустынно!

И он крепко прижался к Герде. А она смеялась и плакала от радости. И это было так чудесно, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю Снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков.

Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зарделись, как розы; поцеловала его в глаза, и они заблестели; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.

Снежная королева могла вернуться когда угодно — его отпуская лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами.

Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры, проглядывало солнце. А когда дошли до куста, с красными ягодами, там уже ждал их северный олень.

Кай и Герда отправились сначала к финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом — к лапландке. Та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать.

Олень тоже провожал юных путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с ним и с лапландкой.

Вот перед ними и лес. Запели первые птицы, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке с пистолетами за поясом.

Герда сразу узнала и лошадь — она была когда-то впряжена в золотую карету — и девушку. Это была маленькая разбойница.

Она тоже узнала Герду. Вот была радости!
— Ишь ты, бродяга! — сказала она Каю. — Хотелось бы мне знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света? Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.

— Они уехали в чужие края, — отвечала молодая разбойница.

— А ворон? — спросила Герда.

— Лесной ворон умер; ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстинкой на ножке и сетует на судьбу. Но все это пустяки, а ты вот Расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его.

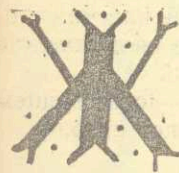
Герда и Кай рассказали ей обо всем.

— Ну, вот и сказке конец! — сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет к ним в город.

Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда — своей.

Они шли, и на их пути расцветали весенние цветы, зеленела трава. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: часы говорили «тик-так», стрелки двигались по циферблату. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что стали совсем взрослыми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой, взяли друг друга за руки, и холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной королевы забылось, как тяжелый сон.

Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло лето, теплое благодатное лето.



ил-был старый поэт, настоящий хороший поэт и очень добрый. Раз вечером сидел он дома, на дворе разыгралась непогода. Дождь лил как из ведра, но старому поэту было так уютно и тепло возле кафельной печки, где ярко горел огонь и, весело шипя, пеклись яблоки.

— Плохо попасть в такую непогоду — нитки сухой не останется! — сказал он.

Он был очень добрый.

— Впустите, впустите меня! Я озяб и весь промок! — закричал вдруг за дверями ребенок.

Он плакал и стучал в дверь, а дождь так и лил, ветер так и бился в окна.

— Бедняжка! — сказал старый поэт и пошел отворять двери.

За дверями стоял маленький мальчик, совсем голенький. С его длинных золотистых волос стекала вода, он дрожал от холода; если бы его не впустили, он бы, наверное, погиб.

— Бедняжка! — сказал старый поэт и взял его за руку. — Пойдем ко мне, я обогрею тебя, дам тебе винца и яблоко; ты такой хорошенький мальчуган!

Он и в самом деле был прехорошенький. Глаза у него сияли, как две яркие звезды, а мокрые золотистые волосы вились кудрями — ну, совсем ангелочек! — хоть он весь и посинел от холода и дрожал как осиновый лист. В руках у него был чудесный

лук; беда только — он весь испортился от дождя, краска на длинных стрелах слиняла.

Старый поэт уселся поближе к печке, взял малютку на колени, выжал его мокрые кудри, согрел ручонки в своих руках и вскипятил ему сладкого вина. Мальчик повеселел, щеки у него зарумянились, он спрыгнул на пол и стал плясать вокруг старого поэта.

— Ишь, какой ты веселый мальчуган! — сказал старик поэт. — А как тебя зовут?

— Амур! — отвечал мальчик. — Ты разве не знаешь меня? Вот и лук мой. Я умею стрелять! Посмотри, погода разгулялась, месяц светит.

— А лук-то твой испортился! — сказал старый поэт.

— Вот было бы горе! — сказал мальчуган, взял лук и стал его осматривать. — Он совсем высох, и ему ничего не сделалось! Тетива натянута как следует! Сейчас я его испробую.

И он натянул лук, положил стрелу, прицелился и выстрелил старику поэту прямо в сердце!

— Вот видишь, мой лук совсем не испорчен! — закричал он, громко засмеялся и убежал.

Скверный мальчишка! Выстрелил в старика поэта, который пустил его обогреться, приласкал, напоил вином и дал самое лучшее яблоко!

Добрый старик лежал на полу и плакал: он был ранен в самое сердце. Потом он сказал:

— Фу, какой скверный мальчишка этот Амур! Я расскажу о нем всем хорошим детям, чтобы они береглись, не связывались с ним, — он и их обидит.

И все хорошие дети — и мальчики и девочки — стали остерегаться этого Амура, но он все-таки умеет иногда обмануть их; такой плут.

Идут студенты с лекций, и он рядом: книжка под мышкой, в черном сюртуке, и не узнаешь его! Они думают, что он тоже студент, возьмут его под руку, а он и пустит им стрелу прямо в грудь.

Или вот идут девушки от священника или в церковь — он тоже тут как тут; вечно гоняется за людьми! А то заберется иногда в большую люстру в театре и горит там ярким пламенем; люди-то думают сначала, что это лампа, и уж потом только разберут, в чем дело. Бегаёт он и по королевскому саду и по крепостной стене. А раз так он ранил в сердце твоих родителей! Спроси-ка у них, они тебе расскажут. Да, скверный мальчишка этот Амур, ты лучше не связывайся с ним! Он только и делает, что бегаёт за людьми. Подумай, раз он пустил стрелу даже в твою старую бабушку! Было это давно, давно прошло и былём поросло, а все-таки не забылось да и не забудется никогда! Фу! Злой Амур! Но теперь ты знаешь про него, знаешь, какой это скверный мальчишка!



Старая история, пересказанная вновь

Б

ыла в одной деревне старая усадьба, а у старика владельца ее было два сына, да таких умных, что и вполнину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне; это было можно, — она сама объявила, что выберет себе в мужья человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре.

Оба брата готовились к испытанию целую неделю — больше времени у них не было, да и того было довольно: знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года — одинаково хорошо мог пересказывать и с начала и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина; значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки, — вот какой был искусник!

— Уж я-то добуду королевскую дочь! — говорили и тот и другой.

И вот отец дал каждому по прекрасному коню: тому, что знал наизусть словарь и газеты, вороного, а тому, что обладал государственным умом и вышивал подтяжки, белого. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот быстрее и легче открывался, и собрались в путь. Все слуги высыпали на

двор поглядеть, как молодые господа сядут на лошадей. Вдруг является третий брат, — всего-то их было трое, да третьего никто и не считал: далеко ему было до своих ученых братьев, и звали его попросту Ганс Чурбан.

— Куда это вы так разрядились? — спросил он.

— Едем ко двору «выговорить» себе королевну! Ты не слыхал разве, о чем барабанили по всей стране?

И ему рассказали, в чем дело.

— Эге! Так и я с вами! — сказал Ганс Чурбан.

Но братья только засмеялись и уехали.

— Отец, дай мне коня! — закричал Ганс Чурбан. — Меня страсть забрала охота жениться! Возьмет королевна меня — ладно, а не возьмет — я сам ее возьму!

— Пустомеля! — сказал отец. — Не дам я тебе коня. Ты и говорить-то не умеешь! Вот братья твои — те молодцы!

— Коли не даешь коня, я возьму козла! Он мой собственный и отлично довезет меня! — И Ганс Чурбан уселся на козла верхом, всадил ему в бока пятки и пустился вдоль по дороге. Эх ты, ну, как понесся!

— Знай наших! — закричал он и запел во все горло. А братья ехали себе потихоньку, молча; им надо было хорошенько обдумать все красивые слова, которые они собирались подпустить в разговоре с королевной, — тут ведь надо было держать ухо востро.

— Го-го! — закричал Ганс Чурбан. — Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге.

И он показал дохлую ворону.

— Чурбан! — сказали те. — Куда ты ее тащишь?

— В подарок королевне!

— Вот, вот! — сказали они, расхохотались и уехали вперед.

— Го-го! Вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел! Такие штуки не каждый день валяются на дороге!

Братья опять обернулись посмотреть.

— Чурбан! — сказали они. — Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верха! И его ты тоже подаришь королевне?

— И его подарю! — ответил Ганс Чурбан.

Братья засмеялись и уехали от него вперед.

— Го-го! Вот и я! — опять закричал Ганс Чурбан. — Нет, чем дальше, тем больше! Го-го!

— Ну-ка, что ты там еще нашел? — спросили братья.

— А нет, не скажу! Вот обрадуется-то королевна!

— Тьфу! — плюнули братья. — Да ведь это грязь из канавы!

— И еще какая! — ответил Ганс Чурбан. — Первейший сорт, в руках не удержишь, так и течет!

И он набил себе грязью полный карман.

А братья пустились от него вскачь и опередили его на целый час. У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд. В каждом ряду было по шести человек, и ставили их так близко друг к другу, что им и шевель-

нуться было нельзя. И хорошо, что так, не то они распороли бы друг другу спины за то только, что один стоял впереди другого.

Все остальные жители страны собрались около дворца. Многие заглядывали в самые окна — любопытно было посмотреть, как королевна принимает женихов. Женихи входили в залу один за другим, и как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется!

— Не годится! — говорила королевна. — Вон его!

Вошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь.

Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все, а тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь себя вверх ногами, у каждого окна по три писца, да еще один советник, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету да продавать на углу по два скиллинга, — просто ужас. К тому же печку так натопили, что она раскалилась докрасна.

— Какая жара здесь! — сказал наконец жених.

— Да, отцу сегодня вздумалось жарить петушков! — сказала королевна.

Жених и рот разинул, такого разговора он не ожидал и не нашелся, что ответить, а ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее.

— Э-э! — проговорил он.

— Не годится! — сказала королевна. — Вон!

Пришлось ему убраться восвояси. За ним явился к королевне другой брат.

— Ужасно жарко здесь! — начал он.

— Да, мы жарим сегодня петушков! — ответила королевна.

— Как, что, ка..? — пробормотал он, и все писцы написали: «как, что, ка..?»

— Не годится! — сказала королевна. — Вон!

Тут явился Ганс Чурбан. Он въехал на козле прямо в залу.

— Вот так жарница! — сказал он.

— Да, я жарю петушков! — ответила королевна.

— Вот удача! — сказал Ганс Чурбан. — Так и мне можно будет зажарить мою ворону?

— Можно! — сказала королевна. — А у тебя есть в чем жарить? У меня нет ни кастрюли, ни сковородки!

— У меня найдется! — сказал Ганс Чурбан. — Вот посудинка, да еще с ручкой!

И он вытащил из кармана старый деревянный башмак и положил в него ворону.

— Да это целый обед! — сказала королевна. — Но где ж нам взять подливку?

— А у меня в кармане! — ответил Ганс Чурбан. — У меня ее столько, что девать некуда, хоть бросай!

И он зачерпнул из кармана горсть грязи.

— Вот это я люблю! — сказала королевна. — Ты скор на ответы, за словом в карман не лезешь, тебя я возьму в мужья! Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра

попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три писца да еще один советник? А советник-то хуже всех — ничего не понимает!

Это все она наговорила, чтобы испугать Ганса. А писцы заржали и посади на пол кляксы.

— Ишь, какие господа! — сказал Ганс Чурбан. — Вот я сейчас угощу его!

И он недолго думая выворотил карман и залепил советнику все лицо грязью.

— Вот это ловко! — сказала королева. — Я бы этого не сумела сделать, но теперь выучусь!

Так и стал Ганс Чурбан королем, женился, надел корону и сел на трон. Мы узнали все это из газеты, которую издает муниципальный советник, но на нее не след полагаться.

СОДЕРЖАНИЕ

Гадкий утенок. Пересказ Т. Габбе и А. Любарской	3
Соловей. Пересказ Т. Габбе и А. Любарской	11
Дюймовочка. Пересказ Т. Габбе	20
Стойкий оловянный солдатик. Пересказ Т. Габбе и А. Любарской	30
Свинья-копилка. Пересказ Т. Габбе	35
Новый наряд короля	38
Свинопас	42
Огниво	46
Оле-Лукойе	52
Принцесса на горошине	61
Дикие лебеди	63
Русалочка	74
Елка	89
Штопальная игла	96
Пастушка и трубочист	100
Старый дом	104
Старый уличный фонарь	110
Последний сон старого дуба	115
Ребячья болтовня	120
Снежная королева	122
Скверный мальчишка	143
Ганс Чурбан	145

Художник А. Жаров.
Художественный редактор Т. Гасимов.
Технический редактор Х. Сафарова.
Корректор Г. Мамедова.

ИБ № 2319.

Сдано в набор 16.08.88. Подписано к печати 11.10.88. Формат бумаги 60X90^{1/8}. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. п/л. 9,5+0,5. Усл. кр.-отт 12. Учетн.-изд. л. 9,98. Тираж 100 000. Заказ 516. Цена 50 коп. Государственный комитет Азербайджанской ССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.

Издательство «Гянджлик», Баку, ул. Гуси Гаджиева, 4.
Типография им. 26 бакинских комиссаров, Баку, ул. Али Байрамова, 3.

Для младшего школьного возраста

Ганс Христиан Андерсен
НАГЫЛЛАР ВЭ РЭВАЈЭТЛЭР

(Рус дилиндә)

Бақы · Кәңчлік · 1988

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Издательство «Гянджлик» готовит к выпуску следующие книги:

Русские народные сказки

Азербайджанские народные сказки

В. Гауф. «Сказки»

Дж. Лондон. «Сердца трёх»

В. Гюго. «Бюг-Жаргаль»

Дж. Родари. «Приключения Чиполлино»

50 1311.

